



поэтическое время

ГРИГОРИЙ МАРК

Четыре времени ветра

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ВЕТРА

...и соберут избранных Его
от четырех ветров.



Маленький, обозленный ветер — не ветер даже еще, а поветрие, первое поветрие наступающей стужи — зернистою изморозью стягивал растрескавшиеся губы, тугой холодной спиралью пеленал, обматывал голову. Расплющивал слезы в хрупкие пластинки, вдавливал их обратно в глаза.

Этот день был горящим ручьем в чёрно-белой зиме 56-го, ручьем из зажженных свечей, сливавшихся в длинное пламя.

Выходили без шапок, растерянные, потные, из темной часовенки в расплывы тусклого солнечного света, размноженного миллионом снежинок. Идти было трудно, земля выгибалась, скользила у них под ногами. И прозрачный звон качался в расщелинах неба, заросшего льдом.

Из узкого прямоугольника двери под куполом с перебитым крестом било пламя. Стекало по ступенькам, усыпанным солью с опилками. Переливалось, змеилось по угреватому от фабричной копоти насту между иероглифами хрустальных сучьев, между стершихся позолоченных слов на плоских камнях и упиралось в другой, страшный прямоугольник, обведенный жирною рамою из жёлтых комьев. Четверо бородатых, со сверкающими,

стеклянными лысинами, стояли по углам, расставив ноги и тяжело опираясь на воткнутые в землю заступы.

Красный граненый ящик, словно кусок спрессованной крови, проплывал над горящим ручьем. У тех, что шли впереди, пылали отмороженные лица. Холод, спустившийся с неба, тонкими иглами входил в их тела, ломался в промерзших венах. Тени цеплялись друг за друга, опускались на дно, белое дыхание идущих — видимая часть притаившихся душ — висело над ними.

И нахохлившиеся грачи, веками охраняющие здесь каменные плиты, смотрели на них в упор, вцепившись в чугунные ограды трехпалыми когтистыми лапами.

Они шагали, наполненные скорбным бесчувствием, — так и будут они теперь шагать через всю мою жизнь — с трудом отдирая от изъеденных ржавчиной решеток мгновенно примерзавшие к ним голые зрачки. Вытягивали перед собою разбухшие рукавицы, в которых бились рваные клочья огня, не дававшего света. И молчание их было как обледеневший наст, застилавший, выравнивающий землю вокруг.

Последним брел, тяжело спотыкаясь о корявые тени, торчавшие из снега, шестнадцатилетний человек в незащитно коротком драповом пальтишке. У него ещё не было ни знания, ни памяти. От камней с позолоченными словами — словами слишком большими для жизни — шел тихий свет, и те, кто лежали под ними, опускались все глубже в холодную почву. Завывал, раскачивая пламя в руках, голосил уныло и страстно сразу со всех сторон порывистый ветер. Острыми кристалликами снежного солнца царапал щеки, обжигал, застревал хрипеньем в простуженном горле.

Тело его продолжало идти по скользкому насту, но сам он продолжал стоять неподвижно в часовенке с забитыми окнами, стиснутый многоголовою распаренною толпою. Перед взором его качались согнутые спины, но видел он лишь раздувшееся лицо с подвязанной челюстью на белом атласном изголовье. И лицо это было, как сургучная печать на ящике, увитом металлической зеленью счёрнми лентами. Одинокая лампочка свисала на голом шнуре. И выше, по куполу, написано было над нею: «Буду плакать я перед Господом». Дремучий священник, окруженный густою безблагодной тишиною, скороговоркой отпускает душу. Кладет в ладонь уходящему дощечку с разрешительной молитвой. Тоненькая страдальческая жилка бьется у него на шее. Серебристая тень промелькнула над только что заколоченным ящиком — и исчезла сквозь невидимую щель в куполе. Намертво зажав в кулаке свою подорожную, плывет к выходу незнакомое тело, ограненное красными досками. Плывет туда, где должно истончиться, исчезнуть все бывшее плотью.

Ручей и внутри него сгорбившийся человек в драповом пальтишке, без шапки, с волосами, поседевшими от инея, стекали в широко распахнутую дверь, обозначенную жёлтыми, со слюдяными прожилками, комьями. Не в дверь даже, а в дверной проем, который охраняли четверо вооруженных огромными заступами стражников в замызганных ватниках с торчащими из карманов бутылками.

Над ровным, будто гашеною известью выжженным полем, над плитами, облицованными инеем, плыл воздух, хранивший форму красного ящика. Светился скол тусклого неба, наполненный оловянным солнцем. Голо-

сил, надрывая связи, метался зигзагами ветер. И окаменелый дым из кирпичной трубы, правильной безнадежностью проткнувшей насквозь горизонт, стелился вдали над городом, над краем всего, что было.

Не могу понять, почему даже сейчас, через столько лет, мне становится так одиноко, когда вспоминаю об этом?



Шли, нагруженные бутылками, по прозрачному лесу, раздвигая густой частокол из солнечных лучей и смахивая с лица паутину. И женщина, в теле которой жил ребёнок, шла вместе с ними. Вокруг шелестели березы, гордо выпячивали перед ними свои зелёные животы на запеленутых чёрно-белою берестою стволах. Серебристая веселая речка плавно кружилась среди белобрывых лопухов, хвощей и крапивы, обнимала блестящими излучинами валуны. И журчание речки казалось прерывистой речью — захлебывающейся речью недавно воскресшего леса.

Расположились на лужайке, окруженной кустами, у самого берега Медного озера. Его белая кромка и заросшие камышами топи были уже оплавлены утренним солнцем. На маслянисто-темной воде уютно плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без весел качалась в покрытом патиной купоросовом зеркале между сбившимися в тучи клочьями тьмы. Над ней, как одноглавый герб в толще балтийского неба, парил, распластав свои хищные крылья, неподвижный ворон.

Расстелили клеенку, бутылки расставили, открыли консервы. Чьи-то голые руки бросали сверкающий хвост в костер, с ворчливым кряхтеньем и оханьем воровавшийся с боку на бок. Постреливали во все стороны

красно-синие головешки. Мне они казались обугленными кусками фраз, которые я повторял про себя, пока они не сгорели и я не выбросил их в этот костер. Слышно было, как подбираются к клеенке ветвистые тени в дымных одеждах, как подминают они на своем пути белые взрывы одуванчиков, переплетенные темные запахи вереска и влажных корней.

Уселись, неторопливо раскуривая в пригоршнях предстоящее молчание. Словно чувствовали уже ту боль, которую я не успел ещё причинить. Женщина, в теле которой жил ребёнок, сидела рядом со мною. Жужжащий нимб мошкары проступил над ее головой. И я не мог к ней прорваться сквозь сгущавшуюся тишину.

Чувство вины и моя неуклюжая благодарность смешивались с беззаботным нетерпением перед тем, что должно наступить всего через несколько дней. Так, наверное, верующие в последний момент перед смертью, забывая о прошлом, ожидают вступления в подлинную жизнь.

Тень державного ворона проплыла по мокрой лужайке. Кусты орешника и бузины, окропленные солнечными оспинками, похрустывали вывернутыми суставами. Расправляли лениво свои набухавшие соками ветви. Гладили ветер листья-ладони. Промерзшая чёрнота, накопившаяся за зиму в капиллярах, трубчатых перепонках, волокнах, высветлялась, выступала наружу тугими фиолетовыми припухлостями почек. Сплошная, тяжелая зелень с прочерченными внутри ее бирюзовыми стеблями мелко тряслась. И только один ярко-красный листок на самом верху, словно орден победы над прошедшей зимой, висел неподвижно.

Метались в клевере мухи, шмели, свисали с ветвей на невидимых нитях бледно-зелёные гусеницы. В траве, разделившейся на миллионы ярких острых травинок, сворачивался крохотными радугами утренний свет, ещё не успевший отделиться от тьмы. Мерцали, переливались только что рожденные в росе головастики, личинки, инфузории. Великая безмолвная оргия взаимного оплодотворения творилась в зелени.

Но женщина, в теле которой билось два сердца, ничего этого не замечала. Она сидела с граненым стаканом в руке и, не отрываясь, смотрела в костер, словно что-то очень важное сейчас в нём догорало. Отблеск пролившегося вина стекал по губам. Я подумал, что глаза ее были слишком большими для лица.

Вдруг она неслышно произнесла мое имя. Я оглянулся — и, будто тупым напильником, по душе полоснуло воспаленную нежностью только что вскрывшихся почек. Вязкая густая тишина снова сомкнулась над моим именем, как болотная вода над камнем, идущим ко дну. И я то ли сказал, то ли подумал: «Обязательно напишу... сразу же...»

Молодой, неумный ветер — добрый дух оживших от зимней спячки кустов — носился по лужайке, перемешивал вокруг неё крошево бликов и дрожащих радуг в росистой траве. Клейкие листики, просвечивавшие пульсирующей белизною, легко касались друг друга, замирали и снова разбегались, точно играли в свои зелёные пятнашки. Наблюдали за игрой, чинно рассевшись по веткам, усатые бабочки-однодневки, синие стрекозы, шелковые мотыльки, ошалевшие от солнца. Все это надо было запомнить. До мельчайшей детали. До прозрачных, с красными прожилками, крыльев-лепестков, аккуратно

сложенных кверху. Не додумывая ни единого кружка на спине у божьей коровки, неторопливо ползущей по рукаву.

Не так-то просто будет привыкать к пустыне.

Я слышал дыхание женщины, сидевшей рядом, слышал ее влажный голос, но не понимал, что она говорит. Моя пустая телесная оболочка находилась среди живых кустов и радуг, рассыпанных в солнценосной траве, на берегу мреющего в утреннем свете озера. А сам я, уже отрешившись от прожитого времени, отрешившись от тяжести тела, поднимался в прозрачные горы. Закон всемирного тяготения — так же, как и все остальные законы страны, где я раньше жил, — здесь не соблюдался. Душа во весь голос пела от счастья, хотя и немного фальшивила. За все эти годы слух у не так и не развился, да и мелодия была слишком трудной. А слов я не знал.

Вешний ветер, взметнувшийся следом за мною с лужайки, указывал путь. И нижний край неба расступался, как Красное море. Моя тяжело дышавшая тень наливалась темнотою, становилась все короче и все уродливее, забегала вперед, пыталась о чем-то предупредить. Потом опять начинала суетиться, петляла под ногами, замирала и терлась плоским телом своим о ветер.

И вот, я достиг перевала. Далеко на юге проступила в небе узкая полость, похожая на внимательно прищуренный глаз без лица, поджидавший, когда я его, наконец-то, замечу. Потом вздрогнули жгуты свалывшихся туч и разлепились огромные веки. Медленно выгнулась синяя кайма зрачка, и в зенице небесного ока я увидел сквозь воздух, струящийся от жары, двухэтажные домики

с плоскими крышами, огражденные низкими красными кустарниками, пологие купола, холмы, просвечивающие сквозь друг друга, и за ними пустыню, сияющую миллионом зернышек света, — голое тело обетованной земли. И время пошло. Медленно, как нигде, но пошло. Моя судьба начинала сбываться.

...достигнув перевала, продолжай восхождение... к себе, от земли своей, от друзей своих, от дома своего... в пустыне пути приготовьте...

Еще одна размытая, длинная тень, незаметно выросшая за спиной, упрямо цеплялась за камни и тянула назад.

Небесный зрачок подмигнул неожиданно мне, как будто сообщнику, — потерпи ещё несколько дней, — и снова стал мутным, подернулся красною пылью. Горячий рассыпчатый свет пустыни сталкивался с обманным блеском Медного Озера. Столб из двух перевитых свечений поднимал стремительно и бесшумно позолоченные тучи, сгрудившиеся над перевалом, расплющивал их по низкому небу. Светлый купол выгнутых туч, очерченный со всех сторон горизонтом, расширялся. И все, что я видел внутри, теперь было связано ритмом, ритмом дыхания и слов, ускользающим и возникающим снова, прерывистым ритмом, стучавшим в моей голове.

Перед тем, как уйти, вытер тыльной стороной ладони струившийся пот и заставил себя оглянуться. Весь оком разделился на половины. В одной колыхалось от края до края расплывшейся акварелью зелёное л ствие, перерезанное сиянием берез и, внутри него, плавно изогнутой речкой, всю другую половину заполнило Медное



озеро. И лодка, как прежде, плыла в рябом купоросовом зеркале.

И там, где л ствие изгибами сливалось с кромкой воды, проступила знакомая мне лужайка. На ней путеводный ветер, успевший уже протянуться сквозь обе мои непрожитые жизни, кусочек огня оторвал от костра и чиркнул им по траве. Осветились кусты, грозно шевелившиеся всеми своими ветвями. Теперь они были похожи на косматых зверей со вздыбленной шерстью, стоящих, опустив головы, на задних лапах за спинами моих друзей. Взметнулись мёртвые запахи сигаретного дыма, чьи-то приглушенные голоса, отблески изумрудных бутылок. Оживить их не удавалось. Я был далеко.

От ветра глаза стали слезиться, и я, наконец, разглядел — сквозь слезы всегда виднее — среди расплывавшихся неопалимых кустов красно-белый квадратик клеенки, себя, свое одиночество, которое, точно побитая собака, крутилось рядом, заглядывая в глаза мне, и всех своих близких — даже тех, кого не было с нами тогда, — с поднятыми стаканами в руках.

Лиц их уже было не разобрать. Но я знал, что сейчас они справляют поминки. Поминки по мне. И свет понемногу уходил.

Женщина с искрящимся нимбом мошкары над головой сидела отдельно, обхватив руками лицо. И я знал, что большеголовый ребёнок, которого никогда не увижу, растёт в ее теле.

Сизое пятно, проступившее прямо над луною, стремительно разрасталось, темнело, превращалось из безобидной тучи в распростертые крылья чёрного архангела. Крылья вздымались и опускались снова, разгоняли в асфальте расплющенные вееры горячих пальмовых теней, все плотней накрывали своим серебристым исподом город, застывший в изнеможении от духоты.

Ветер к земле прижимал налитую грозным шуршанием плоскую крышу. До блеска вылизывал сотней шершавых своих языков. Бормотал заклинанья, обсасывал, одну за другою, каждую из мерцавших антенн. Тщательно, чтоб ни единой частицы грязи, принятой из эфира, на них не осталось, вытирал обрывками мокрых газет. И осипшие птицы воздуха, раскрыв свои длинные клювы, носились между хлопающими газетными листами.

Светопреставление началось ветвящимся спазмом в груди архангела, во взлохмаченной завязи между сросшихся крыльев. Небосвод раскололся беззвучно на две неравные части, и молниеносная трещина впилась острым концом в далекие болота.

Белая волна света хлынула в комнату и окатила меня с головой. Стена за спиною колыхалась, как занавеска от ветра.

Раскрыл окно и глубоко, до головокружения, затянулся ветром. Пузырьки озноба поднялись откуда-то из глубины. Плотный мрак, окружавший дом, распался на куски. Под огромною аркою из крыльев архангела тянулись, насколько хватало глаз, цепочки аккуратно лоснящихся кубиков, прорезанных мигающими огоньками, двойным свечением фосфора и антрацита.

Я стоял, высунувшись в окно, в самом центре вселенной, наполненной блестящею чёрной водою. Дышать было трудно, кровь гулко стучала в висках. Воздух был разреженным, будто трещина в небе втянула в себя его бышующую часть. Звенящая легкость медленно разливалась внутри, омывая, разглаживая засохшие пролежни на душе. Но в легкости этой таилась опасность. Последнюю неделю я провел в спячке на берегу океана среди других тел, бессмысленно созревающих, как уродливые плоды, на солнце, и моя новая очищенная душа ничем ещё не была защищена.

Раздался оглушительный треск, и голова вдруг заполнилась грохотом. Он крутился из стороны в сторону, наталкивался на стенки, отражался от них, становился сильнее и сильнее. И, когда невозможно уже было выдержать, прорвал барабанные перепонки и вырвался наружу. Теперь он заполнял собою весь небосвод, накренившийся под тяжестью воды куда-то к югу. Казалось, исполинский каток расправлял, выравнивал над отвесным шуршанием ливня потрескавшуюся твердь. Грохот, наконец, обвалился за край горизонта. Сияющий цветной дождь повис на секунду, не достигая земли, — и сразу же, расправив крылья, рухнуло на серебристый город, накрыло его собою влажное тело архангела.

...сильнее вод многих, сильнее волн морских...

Ожили по углам дома водосточные трубы. Залитая водою крыша — вознесенный высоко над землею квадрат океана — стояла на четырех урчащих водопадах. И антенны, усеянные зелёным электричеством, торчали из грязной бушующей пены мачтами кораблей, потерпевших крушение.

А за окном прорастали беззвучно сквозь мутную пленку дождя острые листья взъерошенных пальм, извилистые мазки кипарисов. Переливающаяся чёрными отблесками вода выгибала линии улиц, контуры крыш, узкие вскрики зияющих колоколен, их вывалившиеся наружу языки.

Опять загрохотал каток в растрескавшемся небосводе. И в оком, ограненный окном, вползли появившиеся из темноты каменные чудовища одноэтажных зданий. Они надвигались со всех четырех сторон, медленно и немолимо, под дробный стук деревянных капель. Жёлтый свет разгорался в окнах все ярче. Шли они боком, словно чёрные ледоколы, выставив смертоносные, отполированные ливнем углы и расплющивая чавкающее месиво травы, распаренных молочных плафонов, асфальта и лунных стеблей. Острые полосатые навесы над дверьми торчали по сторонам. Потоки воды, не касаясь, огибали сухие темные крыши, словно само пространство вокруг них было изогнуто. Закрученный в спирали пар струился из лихо заломленных труб. И птицы воздуха, прилетевшие по мою душу, с карканьем кружились над ними.

Чистый и пустой, ставший вдруг намного старше себя самого, стоял я в блестящей кольчуге из чешуйчатых отблесков, расставив ноги и перегнувшись пополам над подоконником. Миллионами маленьких сосущих ртов хрипел, задыхался вокруг студенистый ливень.

Мокрая, шевелящаяся темь перехлестывала через окно, стекала за шиворот. Под стук деревянных капель — или это сердце мое так стучало? — невидимые водопады, готовясь к атаке, утробно урчали в железных трубах. Указательный палец нажимал, как на взведенный курок, на щеколду оконной рамы. Кусок сверкающей ливневой пелены удушливым целлофаном плотно прилип к лицу. Прорези для глаз и рта были слишком узкими. Любое движение шорохом отдавалось в затылке.

Я был одним из стоявших у открытых окон. И не было конца светопреставлению в переполненной влагой вселенной. Ослепительные трещины вспыхивали теперь со всех сторон. Небо с грохотом раскалывалось на огромные куски и сразу срасталось снова в невидимый купол. Поднимались в воздух деревья, запрокидывали назад свои кроны и плавно опускались. Медленные волны шли под землю, и поплавки машин покачивались на них. Вдвухвались, лопались нарывы в асфальте. Бурлящая вода уносила грязь и гной великого города в преисподнюю сквозь щели в сверкающих люках. Распрямить указательный палец, о который с брызгами разбивалась сейчас холодная вода, никак не удавалось. И страшно гудел кондиционер за спиной.

Когда небесные вспышки ослепляли здания, медленно и неумолимо приближавшиеся ко мне на подземных волнах, те замирали и тарасились, не мигая, своими

воспаленными, остекляневшими глазами. Но как только тьма возвращалась, они оживали, и снова, словно пена, вскипали их белые тени. Наполненное сырою известкой дыханье смешивалось с дождем. Алой желчью, с еле сдерживаемым бешенством полоскался в незрячих квадратных зрачках электрический свет. Внутри неподвижно стояли плоские люди, похожие на фанерные мишени, которые выставляют возле горящих факелов на ночных стрельбищах. Когда учат убивать... И они ждали...

Терпеливо ждали, что переполненная мертвой водой и сиянием крыша обрушится и раздавит нас всех наконец.

ОСЕНЬ



Всего одна легко избегающая по холмам тропинка, в которой ещё осталась галька и песок от недавно ушедшей воды, ведет в этот лес сквозь шуршанье багровых и жёлтых листьев, сквозь тонкий писк счастливых комаров, празднующих свое последнее солнце, сквозь терпкий настой из хвои с костяникой, влажного валежника, пожухлых грибниц и коры, накопившихся в теплых воздушных ямах.

После тропинки начинается тонкотканый ковер из бледно-зелёного мха с прорехами ноздреватых валунов, непрерывно меняющих окраску. Ковер — словно пол распахнутого храма деревьев, созданных по образу и подобию Древа Жизни.

Сияющий ветер готовит лес к последней осенней службе. Узоры из светотеней тщательно к валунам подбирает. Выстилает их лучшими листьями с иконной сквозной позолотой, переложенными сосновыми иголками, чтобы ног не поранил входящий. Гудит вдохновенно в облепленных солнцем и плесенью длинных волокнах, в трубах-стволах уходящего в небо органа. Водит по выгнутым веткам тонкими прутьями — будто янтарной смолой натертыми, струнами темного света. И в вышних пробует их звучание, многоголосое их согласие...

Теплый воздух промыт очень слабым раствором из уксуса и марганцовки. Отовсюду торчат переломанные лучи, единственные прямые — да и те не здешнего, но солнечного происхождения, — в этом мире плавных, струящихся линий. Ни одной мертвой вещи, сделанной людьми. Мерцают в засохшей густой паутине одинокие капли дождя. С морщинистой кожи столетних деревьев отодраны краски, чтобы не дребезжала обшивка органических труб, чтобы каждый ствол, когда войдет в него ветер, начальник хора деревьев, издавал в чистоте тела свой выверенный и только ему присущий звук. И внизу, у подножия их извиваются, корчатся между корявых коряг цветные струпья коры и пятна света, придавленные тенью.

Слышно, как время течет, оставляя в лице у тебя промоины длинных морщин, намечая пути для будущих слез. Ведь и ты когда-нибудь тоже научишься плакать. Неспешное, прозрачное время осеннего леса, в себя вобравшее все времена. Слышно, как в нём проступает знакомый прерывистый ритм, и не ритм даже, а многоголосая лесная полиритмия. Как низкое небо скользит по глазам, и обеззвученная музыка кружащихся, умирающих листьев вплетается в стройный хор сосен, в надрывное голошенье осин, в трепетанье и жалобы огненных кленов и лип, лепечущих всхлипы.

Высветляется лес. Выветриваются из него последние запахи летней гнили, пожухшей коры. Стволы сияют, будто в преображении. Тысячью протянутых во все стороны рук цепляются побеги и стебли за ветер, раскачиваются, прижимают к себе охапки пылающих листьев. Шелестящие перешептывания шныряют в осиянных высоких кронах, перескакивают с одной на другую, и синюю

кровью смерти взбухают твердые жилы веток. Холод уже отложил личинки в раны поломанных сучьев. Под ними волосатые, мощные корни растут, словно кусты, перевернутые ветвями вниз. Пожирая сгнившие в удобрения прошлого года листья, вползают беззвучно в черную почву. Срастаются в белый фундамент, в упругое скорние бревенчатого, выветренного храма.

Одиночеством, старческим одиночеством наполняются души деревьев. Ожиданием минуты, когда зазвучат, наконец-то, органные трубы воздыханием-мольбой мятущейся плоти — косноязычным молением о сохранении жизни, о воскресении мёртвых животных, цветов и растений. Щемящая нищета и незащищенность оставшихся один на один с наступающим холодом. Ведь те, кто умер, валяются здесь же с трухлявыми уже корнями, вывернутыми наружу. И нет у них возраста. Не только храм, но и кладбище.

...чтобы смертное поглотилось живым... ибо землю наследуют слабые... ведь ещё ненадолго есть с нами свет...

Входить туда надо вдвоем. Всем телом вслушиваясь в текущий по ярко-синему куполу распев несметных ветвей, побегов, стволов и лучей, соединенных ветром. Входить осторожно, чтоб не спугнуть серебристого ужа, греющегося всегда на одном и том же камне, или молодого, безрогого ещё оленя, который, тычась мордой в запахи, ищет в ложине еду среди бурого мха и посматривает на тебя с недоумением. Не раздавить ручеек коричнево-красных тонконогих муравьев под твоею ступнею. Ведь народ в лесу нашем очень пугливый, и вместе мы прячемся здесь от чужих. Но если ты с ними, то ни

одна, даже самая дикая, ветка не хлестнет тебя по лицу, ни один, даже самый злобный сучок, не расцарапает твоей щеки. Выше нас деревья возносятся к небу, глубже в землю они проросли. И зла не делают они никому.

Потом — когда разговор наших тел перейдет, наконец-то, на сбивчивый шопот, когда он опять распадется на два благодарных и утоленных молчания, когда печальной станет твоя душа, — лежать на спине во мху, пропитанном любовью, понемногу пробуждаясь от яви. Отгонять комаров, слушать ветер. Наблюдать, как он пригибает кусты, как он их склоняет к смирению. Засыпать, поглощая раскинутыми ладонями солнце, просыпаться снова. Улыбаться блаженно и осовело сообщницам-веткам, укрывавших от солнца и все время подсматривавших за нами.

Лес, куда ты опять погружаешься, засыпая, неотличим от этого леса. По обе стороны сна, насколько хватает глаз, моховой ковер испещрен очень сложными, нигде не повторяющимися украшениями, сплетенными знаками леса — мерцающими кинофарью бусинками костяники и волчьей ягоды, неровными стежками рыжих сосновых иголок, маленькими круглыми зеркальцами черной, с алыми разводами, воды, чуть подернутой девственной гнилью.

Твой взгляд поднимается кверху, блуждает в толпе голенастых деревьев. В самом центре неба нестерпимо пылает солнце. Из закрученных вокруг него облаков выходят шесть лучей — золотые ребра, скрепляющие купол.

Гудит нетерпеливо перед началом живой литургии деревянный орган. Из земли, из белого скорня леса по стволам поднимаются первые звуки, выходят наружу сквозь мощные раструбы крон. Налет сна с них понем-

ногу сходит — ты проснулся, но это ещё не ты. Янтарных прутьев косые линейки плывут — уже наяву — по натянутым веткам, плавно изогнутым на концах, будто грифы со сломанными колками. И льется со всех сторон спеленутый в молитву тихий распев раскачивающихся деревьев, теряющих листья, впадающих в забытие. Молитву об ангеле леса, который к ним спустится с вестью благой.

И ты становишься лучше, когда слышишь его.

Стебли срывают с себя прилипшие листья, словно грязные бинты с кожи. Выгибаются костлявые руки веток, тянутся к небесному своду. Обступают тебя и начинают кружиться. И вся твоя жизнь, все дни, проведенные здесь в лесу, вплетаются в древокружение, в летящее столпотворение скользких стволов и лохмотьев жёлтого света, свисающего между ними. Кружатся вокруг солнца, как крылья огромной стеклянной мельницы, шесть главных его лучей; кружится весь храм вместе с многоярусными ярко вычерненными облаками, сползающими медленно на край купола, на хвойную гряду горизонта.

Отворачиваешься, закрываешь плотнее глаза, открываешь их снова. И, застигнув себя врасплох, во внезапно ожившей яви, в самом центре ее, видишь новое небо и новую землю. Которых на самом деле, может, и нет. Но это неважно. Просто надо поверить, и сразу увидишь. Завораживающий блеск исходит теперь от светлоногих деревьев, возвратившихся уже на свои места. Контуры веток, словно прочерченные синими чернилами, легко подрагивают. Длинные линии сломанных скрюченных сучьев похожи на зеленеющие от солнца буквы иврита в прозрачном свитке, который натянут между стволами, чтобы все могли следить за молитвой во время службы.

Одна, как видно, совсем уж с ума сошедшая от безысходности, горбатая липа вдруг неслышно выходит из толпы и приближается почти вплотную. Всклипывает, рвет на себе скукоженные, выгоревшие от солнца висюльки, растрепанные вороньи гнезда. Потом, выпростав из косматой трясущейся кроны корявую ветку, отчаянно и бесстыдно задирает подол темно-шафранового поредевшего рубища. Через голову, с хрустом выворачивает его наизнанку, обнажая все худосочное незагорелое тело, покрытое оспами, и застывает, словно сведенная судорогой. Смотри, мне терять уже нечего!

И сыплются, сыплются стаи аспидно-чёрных ворон из-под задранного подола. Разинув застывшие клювы, носятся над твоей головой. Будто сотней раскрытых ножниц беззвучно кроят из тугой синевы для ветра новое платье. Иногда, точно подстреленная твоим взглядом, одна из небесных закройщиц стремительно падает, но в последний момент, уже почти коснувшись тебя крылом, вдруг снова взмывает и продолжает свое слепое кружение.

В слоистых запахах леса проступает чуть-чуть прогорклый, царапающий запах засохшей хвои, свечей и гнилых мандаринов. Откуда, из-под какой новогодней елки твоего военного детства принес его сюда вездесущий ветер? Или у запахов, как у икон, тоже своя обратная перспектива, и чем ближе к детству — тем слышнее они? И память дольше у них?

Сон опять незаметно меняется с явью местами, но для тебя по-старому все остается, ведь ты безнадежно застрял между ними. Тускнеет так умело подобранная пестрота мохового ковра. Смыкаются листья над твоей головой. Верхушки деревьев теперь протыкают насквозь

огромное низкое солнце, уже освободившееся от облаков. Бесформенные груды горящего золота громоздятся над ними. Лучистый купол нерукотворного храма пригнулся к земле, ещё больше отделяя тех, кто внутри, от остального мира.

На самом краю окоёма видна год назад ещё удочеренная веточка с нашим сдвоенным именем. Сейчас и узнать ее трудно. Исхудала, осунулась, совсем почернела. Серебристо-зелёное платье испачкано бурными пятнами, следами ночных заморозков. Задубела тонкая кожа, коростой покрылась. Разбухшие суставы торчат во все стороны. Но в длинном сердце, в тугих молодых волокнах ещё сохранился поющий остаток тепла. Только хватит ли на целую зиму? За близких особенно страшно. И, словно чтобы нас успокоить, она взлетает, легко и привычно водит танцующей тенью по лицу.

Темный солнечный зайчик щекочет набухшие веки. Облетает листва. Облепляет лицо листопад. Ты слушаешь — почтительно и отрешенно, — как осеннее время твоей жизни сливается с голосом ветра, вставленным в раму из трепетных шорохов и воздыханий; как по секунде, по маленькой капле прозрачной зелени стекает оно сквозь мох в крошечную тьму. И бережно складываешь услышанные слова. Одно к одному. Чтоб помогали, поддерживали друг друга, когда с первой звездой придется звучать им. Ни единою буквою не сфальшивить, ни одной запятой неверной не нарушить их прерывистый пульс, их уже истончившийся ритм. Свидетельство о заброшенном соборе деревьев, пронизанном заходящим солнцем, о кружащихся внутри его листьях, соединенных, как слово и слово, в огромную молитву леса, о дряхлеющей пло-

ти, источенной короедами, и о наполненном бормотанием одиночестве. Может, кто-нибудь после нас...

Высокое беспокойство теперь наполняет тебя. Почти истекло уже время. Надо спешить. Не вставая с земли, начинаешь шарить вокруг. Среди ржавых сосновых иголок и разбухших струев коры нащупываешь, наконец-то, косые лучи, торчащие рядом в дремотой пропитанном мху. Осторожно на прочность их пробуешь. Потом выдергиваешь, наматываешь на кулак. Минуту смотришь — уже не глазами, но через глаза — в нависшие ветки. Узнаешь по движению извивающихся листьев, что ветер совсем рядом. И тогда рывком себя поднимаешь к небу. Ошеломленную душу, как воздушный змей, привязанный к телу прочными нитями, подхватывает ветер — Божий ветер, веющий уже не только в пространстве, но и во времени, — и носится, носится душа перед началом службы Судного Дня, не находя себе места под куполом леса. Леса, из которого мы никогда не выйдём.

Ты успеваешь ещё разглядеть сквозь приоткрытую щель между явью и сном нас обоих внизу. Последнее, что удастся запомнить.

Конечно, сейчас всего этого не существует. Да, наверно, и раньше не существовало. Но я записал свои воспоминания о четырех временах ветра в надежде, что будет дано мне их увидеть когда-нибудь снова. И можно будет сравнить.

Март — Август, 2012

**КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ГЛАГОЛАНДИИ.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государство Глаголандия расположена на обширной плоской равнине между Родной Речкой и окружающими страну скалистыми синими горами. Горы эти на старинных глаголандских картах обозначались как Горы Непроизносимого.

Сложная система каналов расходится от Речки. Всё, что прорастает в стране, питается её живительною влагой.

Изпод Речкою кружатся алчно в клубах густого, горячего пара иссиня-серые сирины и алые алконосты. Их хищные тени со свистом тяжёлыми крыльями разрезают белую мякоть.

Никогда не смолкающий шум глубинной просодии и эвфонии, мощные потоки льющихся гласных, где, наталкиваясь на ударения и рассыпаясь тысячами цветных брызг, мечутся беспомощные фонемы и скользкие тоны, слышны отсюда по всей стране.

На другом берегу до самого горизонта тянутся Празыковые Болота, в которых всё время рождается новая и безязыкая жизнь. Влажные, бессмысленные звуки засасывают тех, кто туда попадают.

Вдоль набережной каменный парапет, поросший плесенью, пунктирная линия луж, скамеек и скульптур 33х детей кириллицы.

Малоодушевлённые глаголы (совсем неодушевлённых в стране нет) втуне, всуе и вотще накапливают здесь духовный опыт, рассматривают блестящих речных гадов

и электрических рыб в потоке. Задумчиво помешивают острями зонтов свои отражения в морщинистых зеркальцах луж, буриданствуя о природе Глаголандии и о свободе выбора.

Вечером, когда они расходятся по домам, лужи прячутся в асфальт, но утром, как только восходит солнце, снова проступают на тех же местах, терпеливо поджидая своих малоодушевлённых буриданцев.

На парапете, свесив длинные ноги в Речку, сидят кайфоловы, и целыми днями терпеливо пытаются выудить на рифму из потока просодии новые созвучия.

Мимо них торжественно проплывают разукрашенные цветными флажками, экскурсионные визгоходы — маленькие тротрубы пароходики, увешанные со всех сторон восхищённым детским визгом.

Выше по течению за высокими заборами пляжи-нагишатники для голословных дзен-нудистов, которые пытаются достичь просветления, трансцендентально медитируя в голом виде. Целыми днями угрюмо наблюдают они, как поток просодии смывает грязь с глаголандского берега. Всё глубже и глубже погружаются в себя, в свои блестящие голые тела. С появлением первой звезды они умывают дух свой чистой водой Родной Речки и расходятся по домам.

Визгоходы проплывают в потоке просодии мимо нагишатников, лихо заломив дым над трубами, издают приветственное гудение. Детишки высыпают на борт, замолкают, с испугом и любопытством рассматривают голословных медитаторов.

Иногда туши безымянных, живущих в Болотах, с отчаянным рёвом бросаются с обрыва в бурлящий поток просодии. Тем из них, кому удаётся прижизниться, переплыть Речку, дают имя для новой жизни, ибо в Глаголандии не должно быть неназванных, и они становятся глаголандцами или глагами, как называют себя коренные жители страны. (Хотя у всех глагов есть имена, отчества нет ни у кого. Живут они долго и родства не помнят. Почти все знают друг друга. Новые рождаются редко, но старые слова часто можно увидеть в новом свете).

У подножия Гор сразу за чёрным частоколом кириллицы начинается дремучий Лес Тёмных Метафор. В глубине его мерцают, как огромные лилии, клочья белого света.

Здесь по ночам, обдирая кожу, бродят между корней и коряг набухшие лунным сиянием стада одичавших терминов вместе со своими готовыми на всё прилагательными и личными местоимениями. Сквозь липкий туман испарений носятся со свистом летучие мыши, упыри, нетопыри и прочая глаголандская нечисть. Шевелятся кишасшие флексиями поэтические тропы и тропинки. Тени хищных растений миллионами волосатых рук хватают, тянут к себе. Термины вырываются, продолжают идти, оставляя за собой красную россыпь следов, тихими беззащитными сапами крадутся посапывая к мерцающим лилиям далёкого света.

По воскресеньям на них устраивают облавы и тех, кого удаётся поймать, помещают в спецпсихбольницу.

За Горами Непроизносимого, там где тот свет сливается с этим, расположен Дальний Сутистан — мёртвая страна вещей в себе и чистых сущностей, о которых достоверно известно только то, что они есть. Многие глаголандские учёные считают, что их предки пришли из этой страны. Из Сутистана ведут также свою родословную и числительные глаголы (числословы).

Описания философов-сутистов, утверждающих, что они (в духе своём) побывали в Сутистане, понять невозможно, несмотря на их огромный объём и внушительную окантовку длинными цитатами из Канта в начале и в конце текстов.

Одна единственная, усыпанная солью дорога («Путь Слов» или «Виа Вербоза», как её зовут иностранцы), соединяющая Глаголанию с остальным миром, вьётся в полях между Речкой и Горами.

Вдоль дороги неподвижно плывут по зелёному морю мачты высоковольтных передач, словно парусники со спущенными парусами.

Если смотреть с неба (в Глаголандии любят смотреть на себя свысока), выгоревшие от солнца кириллические буквы домиков на Пути Слов выстраиваются в главную фразу — «В начале было Слово».

2. НАСЕЛЕНИЕ

Население Глаголандии по одной из последних переписей (2003 г.) примерно 130,000. Численность населения быстро падает. Родная Речка мелеет на глазах.

В. Даль, которому принадлежит первое систематическое описание страны, в 1880 г. оценивал население в 200,000. Сегодня по подсчётам М. Эпштейна всего около 10,000 существенных слов, и только одна треть собственно глаголов являются переходными, активно участвующими в жизни. Генница страны, генетический фонд её лексем, всё беднеет и беднеет.

Хотя местные силлабы и вокабулы имеют нравы очень свободные, но при этом беременеют они редко, и рождение слова всегда большой праздник в стране. Праздник этот (свадьбищенское обозначение) отмечается в Соборе Святой Грамматики специальной службой, когда венчаются на Имя новый глаг и ему наречённая вещь. (Слова в Глаголандии обычно вступают в брак сразу после рождения, и в брачно-гордиевских узлах, которые при этом завязываются, не всегда сходятся концы с концами).

После свадьбищенского обозначения устраивают народное гуляние. захмелевшие глаги всю ночь шатаются по улицам, нанизывают на дыхание новообрачённое слово и обкатывают на разные лады его уимянившееся звучание.

Браки в Глаголандии очень прочные, и нередко глаги растворяются полностью в своих наречённых. Так, например, в первый день Глаголандского Карнавала, когда слова надевают маски с новыми именами, в полночь происходит световоплощение, и слово «свет» превращается в свет. Через несколько секунд оживший свет отличивается, откладывает первые личинки, прорастает сиянием

и начинает новую жизнь в зрачках собравшихся вокруг глагов.

Кроме традиционных браков между обозначающими словами и обозначаемыми вещами встречаются также синонимические словосочетания, когда несколько глаголов заименяют одну и ту же наречённую им вещь, и групповые браки между двумя и даже тремя фемиандрами-женотомужами, живущими вместе, как например, грамматический андрогин Тыя или широко известная в поэтических кругах семья Одинночьюстих.

Процессы андрогинизации и гермафродитизации для достижения обоуполой цельности в последнее время захватывают большую часть глаголандской молодёжи.

Большинство населения работает вне страны на мелких должностях, где их собирают во фразы для обслуживания пользователей (писателей, журналистов, читателей, слушателей и пр.).

Пользователи записывают их мёртвыми значками на бумаге или произносят мёртвыми звуками, не подозревая об истинной глаголандской жизни слов, не подозревая, что несущие, безбытийные словоформы, которые они произносят, читают, слова, которым они так часто подражают — это только тени живых глаголов. Тени эти становятся видны или слышны, когда на слово направлены глаз смотрящего или ухо слушающего, и по тени о самом глаголе мало что узнать можно.

Миф о бесплотности, бездельности глагов до сих пор широко распространен среди пользователей. Миф

этот возник из-за того, что истинной плотью слов являются их души.

Только те из ословотворившихся, кто (как лирический герой этого Путеводителя) сами переселились в Глаголандию, только те, кому со словами и без людей хорошо, те, кто полюбил слова, не за то, что они означают, и даже не за их звучание, а за них самих — только они узнают подлинную природу глагов.

Когда ословотворившиеся умирают, их хоронят в Соборе Св. Грамматики. Пол Собора выложен истёртыми каменными плитами с их именами.

Надо сказать, что связи между глагами и их видимыми и слышимыми тенями всё больше ослабевают. Раньше каждое прикосновение к тени было важным событием в жизни глага. Теперь слова почти не обращают внимания, когда и как их употребляют и как их коверкают. Учёные из Глаголандского Университета считают, что это ослабление связей, их безбытийность, являются признаками зрелости глаголандской цивилизации или даже указывают на начало её упадка.

Некоторые глаги ещё недавно занимали высокие посты на идеологическом фронте — жгли сердца, призывая к беспощадной борьбе. Сейчас эти обезбоженные хаммо-советикус, под серыми шляпами которых до сих пор тлеет их возмущенный ещё в коммунистическом детстве разум, доживают свой век в непрошедшем времени на пенсии в специальных новоязовских имяречниках — домах престарелых для бывшего начальства.

Имяречники эти расположены в Новой Глаголандии, выстроенной после Великой Октябрьской Социалистической Поллюции 1917 года в характерном для той эпохи стиле баракко.

Вдоль широких и грязных проспектов над крышами полуразвалившихся имяречников кроны дыма торчат из красных кирпичных стволов, и между ними застыли в смертельных объятиях огнедышащие драконы производительных сил и поядающие пламя драконы производственных отношений.

Здесь верные тленинцы, совсем недавно страшные Генсеки, Цкисты, Наркомы, Чекисты, Досаафы, Осо-виахимы целыми днями, как дети, ползают на коленях, пытаясь нащупать новую общую почву у себя под ногами, или вспятив в так и не прошедшее для них время, вспоминают, как ходили на Логоса с одним партбилетом. Маленькие мозговички в кгбешной форме, вживлённые в них ещё в пионерском атеистовом детстве, приплясывая, ворошат красными кочергами раскалённые уголья пролетарских идей в черепных коробках.

В огороженных зелёным штакетником сквериках возле имяречников до сих пор торчат, как застаревшие нарывы земли глаголандской, вездехюсты с бронзовым ВождеЛениным.

На выгнутых имперских скамейках вокруг вездехюстов пожилые, вельмизадастые учительницы истории партии и литературы, позабытые всеми внебрачные дочери кириллицы и диамата с гладко зачёсанными назад седыми волосами, поджав толстые губы, лениво чехвостят проходящих мимо новорюссков.

На жаргонных окраинах Новой Глаголандии раньше жило много блатных, отличавшихся друг от друга приставками, суффиксами и татуировками. Основных корней у их существительных слов было два — мужской и женский, и всего один инцестуозный собственно глагол между ними. Остальное составляли междуматия, вставляемые ахульно.. Склонения и спряжения в этих вечно наплеветнических фаллицизмах были очень приблизительные, и законы лингвистики (также как и все остальные законы) почти не соблюдались.

Вследствие недавней смены парадигмы во время Великого Хапка, часть братвы сделала головокружительную карьеру, и вместе со своими наблатыканными малявами и кентами-коммутантами из мутировавших мгновенно коммунистов превратилась в уважаемых всеми новорюссов и перебралось в престижные районы. Их пересыпанная инцестуозными маткоговорками и ахульными междуматиями феня становится всё более популярной в элитных кругах.

В поле, сразу за Новой Глаголандией, ещё можно увидеть проржавевшую платформу, пакгауз за нею и густо заросшую травой железную дорогу, похожую на закопанную лестницу из обугленных шпал. Конец этой мёртвой шпальницы уходит глубоко в землю, в последнюю точку, где сходятся рельсы.

Когда-то тут круглые сутки, расталкивая воздух красными звёздами на носках своих паровозов, летели в лагеря Гулага поезда, до отказа набитые зэками-глагами. Бросали огромными лопатами в огненные топки сверкающий уголь бородатые, полуголые кочегары. Под

лязганье буферов пила в тамбурах тёплую водку простодушная вохра. Вдоль насыпи, залитой электрическим светом, носились с лаем немецкие овчарки. Заунывные зэчьи песни бились в задраенные наглухо окна теплушек, и тени веток хлестали вагоны...

Начиная с 90х годов прошлого века в Глаголандию хлынуло огромное количество иностранцев, которые хотя и сильно потеснили коренное население, но вынуждены были принять здешние законы.

Надо сказать, что к иностранцам в стране всегда относились с большим почтением. (Например, у входа в Глаголандский Университет стоят два величественных памятника Владимиру Далю и Бодуэну де Куртене). Исключением был только период истеричной борьбы с космополитами в конце 40х — начале 50х годов прошлого века, когда Гееннералиссимус неожиданно ворвался в Глаголандию и начал наводить порядок в языкознании. В то приснопамятное время по всей стране с недооббыдленных инородцев публично срывали псевдонимы под охлиное улюлюканье глаголандских толпарей. Иностранцы насильно заименяли словами исконно-русскими кондовыми, потом отправляли их в места отдалённые очень, и глаголандский охлос, воинственная чернь её охломонов-толпарей, улюлюкала над кем скажут, ещё до первого слова начальства.

Тенденция к костноязычию, окостенению языка, начавшаяся в это время, продолжалась вплоть до начала 90х годов.

Несмотря на всю борьбу с космополитами и эмиграцию, несмотря на всю некошерную духовную пищу, которой им приходилось питаться с детства, в стране до сих пор сохранилась небольшая община иудейных ревнителёв старого и живого, которые пытаются проТорить, проложить по Торе, свой жизненный путь, пытаются по искре собирать рассеянный в Глаголандии свет их Слова.

Древняя талмудность их раввинства, их всеюдность — убеждённость, что в глубине души, в самом начале религии, все глаги имеют иудейские корни — убеждённость эта до сих пор живёт среди ревнителёв.

Но проТоренные их иудействия вызывают раздражение часто у коренных глаголов.

Простые глаги живут в жуткой тесноте в одинаковых, похожих на соты, коммунальных квартирах, но при этом очень ценят свою экзистенциональную единность.

Вечно мычащее, (горе)мыкающее вместоимение «мы» — один из самых презираемых обитателей страны. Вместо того, чтобы мыбыть — быть между собою на «мы» — в разговорах глаги обычно ячат своим Я.

Некоторые из ячечников отравили огромное эго, которое уже не умещается полностью у них в душе. Среди этих альтруэгоистов, бескорыстно (и безнадёжно) любящих себя, популярен, так называемый, изменяемый мнемонизм — монистическая точка зрения, согласно которой всё существенное исходит из меня и принадлежит мне.

Но даже те, для кого этот изменяемый мнемонизм и есть весь ответ, очень часто мучаются, пытаясь понять, какой на него был вопрос. (Поиски вопросов под найденные ответы — любимое занятие в Глаголандии). С годами

это подответное вопросоискательство становится непосильной ношей для альтруэгоистов, которые вынуждены всё время таскать на себе своё раздувшееся эго.

Ибо иго глагу эго его.

По вечерам, когда уставшие глаги лениво и страстно разглагольствуют на кухнях, и альтруэгоисты задают свои вечные ответы, квартиры гудят, словно разбуженные улы, и специально назначенные силлабы собирают словесный мёд их разговоров. На следующее утро они продают его на базаре, а иногда даже (и по более дорогой цене) в Отделе Дознания Грамматической Службы.

Глаголандская аристократия — однослова, каждое из которых уже особое литературное произведение — живёт в особняках недалеко от Университа. (В настоящем Путеводителе авторские однослова, например Глаголандия, выделены курсивом. Сам Путеводитель задуман как введение в филологическую географию Глаголандии. Особая природа страны требует и особого языка для её описания. Лексика этого языка построена на однословах).

Последние пару лет в районе однословий идёт большое филологическое строительство.

У каждого из однословий (как, впрочем, и у всего Путеводителя, и у его Составителя) свой лирический герой, связываться с которым не рекомендуется.

Остальные глаги относятся к однословам со смешанными чувствами восхищения их самозавершёностью и неприязни из-за того, что никогда не знаешь,

с кем общаешься — то ли с лирическим героем, то ли с самим однословием.

Из-за нехватки и дороговизны жилья часть глагов переместилась глубоко в виртуальное пространство. Тут они молятся, виртуально осемиотившись, означив себя именами несуществующих пользователей, перед увитыми розами иконостасами на экранах. Под густое жужжание твёрдых дисков они копошатся белыми пальцами в клавиатурах, изгоняя компьютерных бесов из своих лоптопов. Обмениваются секретными интернеторождёнными симулякрами. Ловят новые слова в свою интернетную Сеть. Подсматривают сквозь приоткрытые гугольные окошки за цветными интернюшками на порносайтах,

Дорога к ним проходит по длинным, извилистым цепочкам линков, которые, кроме обитателей Сети, знают лишь немногие посвящённые адресоблюстители.

Кладбищ в Глаголандии не существует. Когда слово умирает, его просто перестают произносить, и гроб с его телом спускают ночью, тайно ото всех вниз по Родной Речке.

Лишь краткое жизнеописание смертвеца остаётся в Универсальном Орфоэпическом Тезаурусе, который хранится в скрипте Собора Св. Грамматики.

Страха смерти у глагов нет — для них жизнь и смерть такие же слова, как и остальные обитатели страны.

Часть смертвецов живёт и после смерти, так будто их новая жизнь действительно происходит с ними.

В последний день Глаголандского Карнавала их часто можно увидеть в смеющейся толпе. Они стоят молча с землистыми лицами у всех на виду, как свидетели со стороны обвинения, среди отелеснившегося срамословия скрывающих, обманывающих масок, и никто не знает ни их имён, ни что они означают, ни чего они хотят.

Считается, что встретить такого психокадавра — живую невидимую душу, которая тащит на себе мёртвое тело — утром, когда идёшь на работу, очень плохая примета.

В ночь на Вербное Воскресенье на краю небосвода появляются цепочки огней. Это недореинкарнировавшиеся, застрявшие между реинкарнациями, души недавно умерших возвращаются, нагруженные подарками, к родным из Ближнего Тогосветья на летающих душеблюдцах с голубою светящейся каймой.

На следующий день на улицах столицы можно увидеть горы дрожащих ещё иночерепков, обломков душеблюдец, разбитых спозапьянку во время праздника. Так что за недореинкарнировавшимися приходится посылать новые душеблюдца из Тогосветья.

В Оккультторге — столичном магазине оккульттоваров — широкий выбор лживотворной Косметики для Третьего Глаза, магических бриллиантов, приворотовок, настоенных на отварах из заклятых трав вытривзгляд и отвернилицо, всевозможных оберегов, инкрустелей (богато инкрустированных костылей для духовных калек), душеотводов (предметов для отвода души, например, сервизов для битья посуды), специально разрабо-

танных некрофонов для связи с Ближним Тогосветьем. (Медиумничающие глаги, пытавшиеся пользоваться некрофонами, жалуются на плохую слышимость.)

Кроме того в Оккультторге имеются кабинки, где за небольшую плату можно посмотреть программы астрального телевидения, транслирующего последние новости из Ближнего Тогосветья. (В последнее время новости эти становятся всё более тревожными. Похоже, там что-то затевается).

Каждое утро в магазине можно увидеть очень хорошо известную мужской половине города хозяйку местного увеселительного заведения, роковую женщину, отличающуюся сложной, роковой изысканностью форм. (Знаменитый портрет вчёмматьрождённой хозяйки расположен над входом в заведение). Она быстро просматривает оккультные новинки и покупает специально приготовленный для её неутомимых работниц гороскоп на следующую ночь.

В Глаголандии многие верят, что души слов не умирают вместе с обозначающими их словами и могут, вернувшись на время из Ближнего Тогосветья, проживать инкогнито новые жизни в других глаголах, которые об этом и не подозревают.

Из поколения в поколение передаётся в старинных родах искусство терминоселекции — выбора нового термина, нового обозначающего слова душой-безтельницей, когда она находится в чревоожидании, в ожидании порождающего чрева непосредственно перед рождением.

В эти судьбоносные минуты перед нею простираются тысячи напряжённых, ждущих, чавкающих чрев, и че-

рез каждое из них она может вернуться в мир. Безтельница должна тщательно их исследовать перед тем, как войти в одно из них. Считается, что ошибка при выборе чрева, при выборе своего нового слова-имени, даже маленькая чревооточина в выбранном чреве, чревата страшными последствиями. Неправильно уестествившаяся безтельница расплачивается за такую ошибку всю свою последующую жизнь.

До конца оглаголившиеся души, реинкарнировавшие на всю Катушку Великого Колеса Превращений, души, для которых глаголандская жизнь уже стала метафикцией, вселенской коллюзией, прозрачным покрывалом Майи, могут самогуриться, стать гуру самим себе, достичь, не выходя из себя, полного покоя и умиротворения в своей собственной маленькой нирванночке.

Территория страны настолько мала, что в ней полностью отсутствует общественный и личный транспорт. Никто ни на чём никуда не ездит.

Но у западной стены Собора Св. Грамматики всегда стоят для словолюбивых романтических туристов несколько крытых карет, обитых жёлтым бархатом. Шевелятся гривы коней, всплывают над головами, как чёрная пена. Ритмично храпят на козлах огромные ямбщики-кучера в тулупах с поднятыми воротниками, надвинув косматые шапки на брови. Квадартные курчавые бороды грозно к небу воздеты. Торчат кнуты из оттопыренных карманов. Ветер качает в стене Собора резные тени коней, карет, ямбщиков-кучеров, кнутов,... К вечеру тени набухают, наливаются чёрнотой. Ямбщики становятся прозрачными силуэтами, растворяются в зыбком мареве.

И сияет под огромными оглоблями жёлтых карет несметным богатством серебристая брусчатка.

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Официальное название страны «Терминократическая Республика Глаголандия».

Правительство больше похоже на младшую сестру, чем на старшего брата. Оно не столько управляет жизнью глагов, сколько советует, как и зачем им жить.

Свод законов, Грамматический Кодекс, давно вошёл в плоть и кровь населения. Обитатели страны часто именуют себя Глагоми Грамматического Закона. (Слова, правота которых противоречит Грамматическому Кодексу в Глаголандии не выживают).

В Парламенте (Совете Второй Строфы) четыре главные партии (Четыре Строки), которые представляют четыре основные части речи — собственно глаголов, существительных, прилагательных и наречий.

Парламент раз в год выбирает верховного правителя Глагологоса — глагола, во всех трёх лицах которого в этот год живёт Логос и Его Голос. (По преданию Глаголандия стоит внутри всеобъемлющего Логоса на Первострофе. В ней всего четыре священных строки из существительных подлежащих, но строк этих никто не знает).

Кроме Глагологоса в стране есть ещё одно очень важное Лицо, которое всегда молчит. И лишь когда Глагологос нарушает Закон, оно поднимается на паперть Собора Св. Грамматики и в присутствии большой толпы народа произносит восклицание «Ыых!». На следующий

день после того, как Восклицо произнесло «Ыых!», Парламент начинает импичкать Глагологоса.

Выборы Глагологоса, которые начинаются сразу же после окончания Глаголандского Карнавала в день осеннего солнцеворота и длятся до Нового Года, всегда сопровождаются ожесточёнными словопрениями. Взаклѣбность и наобумность этих словоспорищ давно стала неотъемлемой частью национальной традиции.

Сразу после избрания Глагологос вместе с четырьмя своими помощниками-Аттрибами из каждой Строки, окружённые телоохранниками и душеохранниками, в крылатой упряжке спряжений коренных глаголов отправляются из Парламента в Собор.

Во всю ослышь, до самого горизонта слуха, разносится перезвон-глаговест ликующих глаголандских колоколов. И эхо его отдаётся гудением в чугунных камертонах ограды Собора.

Мерно цокают звонкие окончания коренных глаголов. Струится в брусчатку, выложенную кириличными древними буквами, свечение с копыт.

Впереди процессии, сверкая в заходящем солнце медными трубами, Государственный Оркестр Пассионариев Глаголандского Суперэтнуса исполняет гимн «Страна родная Глаголандия, в сердцах любовь к тебе храним». И в самом звучании слова Глаголандия слышен kloкочущий колокольный звон.

Прижимая к груди огромные жёлтые конверты и оглядываясь вперёд, медленно движутся силлабо-тоническим цугом за оркестром Глагологос в красном плаще и Аттрибы в плащах своих строк.

В кулаке у Глагологоса зажат светящийся золотом восклицательный знак !?, знак веры, побеждающей сомнение.

Строфоотряды тождественных самим себе терминов Грамматической Службы в белой парадной форме с рифмами наизготовку шагают в лексикографическом порядке слово-в-слово вслед за упряжкой спряжений, в которой стоят Глагологос и его Аттрибы. Каждый из терминов является точно таким, каким он должен быть.

Во главе колонны идут в своих первых, официальных лицах близнецы — Глаголоначальники Отделов Дознания и Наказания. Их сдвоенные мужские тени-морфемы, Кртксть и Тврдсть, неотступно плывут за ними, со скрежетом царапая брусчатку костлявыми, неогласованными телами.

По всему пути процессии голубые промоины окон горят расплавленной в камне слюдою. Праздничное многоголовое многоглаголанье плещется на площадях.

Фасады домов украшены торчащими из промоин разноцветными гёрляндами девушек в развевающихся платьях. Девушки исступлённо размахивают над головами своими красочными, щебечущими тенями.

Миллионы розовых лепестков сыплются из гёрлянд на головы проходящих терминов и их суровых Глаголоначальников.

На церемонии в Соборе, увешанный всеми своими официальными префиксами, суффиксами и прочими регалиями курчавобородый Архиепископ Глаголианский Лингвус Второй дрожащим надорванным тенором поёт исполати и фимирамбы, воскуривает фимиам перед простреленной пулею иконой Одигитрии Глаголандской. Окропив святою смесью крови, слёз и пота стоящих на коленях Глагологоса и его Аттрибов, торжественно деепричащает их, причащает к действию, благословляя на правление. И в души их входят поющие голограммы всей Глаголандии.

Глагологос Прошлого Года подносит Новому Глагологосу на золотом подносе ключ от Собора. Бородка ключа представляет собой точную копию профиля Архиепископа

В этот момент Новому Глагологосу открывается в молитве истинное имя Логоса — тетраграмматон и Первая Строка Первострофы. (Через год, когда он перестанет быть Глагологосом, тетраграмматон и Первая Строка навсегда исчезнут из его памяти).

4. ИСТОРИЯ СТРАНЫ

История страны уходит в глубокую древность (и, когда возвращается из неё в трудах глаголандских историков, оказывается сильно изуродованной).

Первые упоминания о коренных жителях, лесных словичах, появляются на берестяных грамотах, написанных ещё задолго до возникновения государства в так называемый деревянный век. В это время (известное среди историков также как эпоха пандендрированности, всеобщей деревянности) всё в стране — даже её языческие

словобогИ Яви и Прави — делалось из дерева, преимущественно из осины. Ещё и сейчас на окраинах Леса Тёмных Метафор можно найти намолёные веками капища с полусгнившими осиновыми идолами позабытых, но до сих пор могущественных словобогов. Стилизованные их изображения стали частью палеомодернистской традиции в современном глаголандском искусстве.

Согласно легенде, записанной в в Серженевой Книге, примерно тысячу триста лет назад большая группа глаголичей сумела переправиться вплавь через Родную Речку из Праязыковых Болот. Из потомков словичей и глаголичей возникла новая языковая общность глагов.

Они мирно разводили коров на разнотравье, писали друг другу берестяные славянофилькины грамоты, и от своих трудов стали сыты быть. Пять раз в день собирались они вместе и много пили солнечной сурицы во славу словобогов. А имя словобога-оборотня главного было Дид-Дуп-Глаг. От многих словес и от сурицы солнечной лишились они мужества и имели между собой беспокойство и разлад. Что в Прави положено Дид-Дуп-Глагом, было им неведомо, и Явь творила жизни их.

Через двести лет после Великого Переселения, когда на месте будущей столицы страны, Словгорода, уже находилось большое поселение, греческие монахи из Святой Земли принесли в страну Ноос — разум, явленный в Откровении Логоса. Исполненные Нооса, благочестивые глаги сбросили, наконец, иго Дид-Дуп-Глага и других своих древних словобогов вместе с их деревянными статуями в Родную Речку. Уцелевшие словобогИ попрятались по

лесным урочищам, и священная корова Зимун не приходила больше грозовой тучей в глаголандском небе.

Язык в стране стал церковно-славянским, и в церквях Глагоруссии начали словославить Истинное Слово костлявые девки и русые лепокудрые мужики.

Слова-памятники этих эпох (например, «Слово о Законе и Благодати» или «Слово о Полку Игореве») давно стали предметами глаголианского религиозного культа.

Священные книги, принесённые греками, были быстро утеряны, и содержание их позабылось. Но осталась с той поры в глаголианстве неизбывная ноостальгия, тоска по разумному, тоска по ноосу — разуму, явленному в Откровении.

Много разных народов приходили в страну и буйно смешивались с коренным населением. И жители научились приспособливаться. Если нужно, они могут, навесив на себя защитные суффиксы и префиксы или, изогнувшись всеми своими флексиями, принять любую форму, могут склоняться, спрягаться, могут выработать любое недоумение — умение делать как надо. Но податливая женственность склоняющихся, спрягающихся глагов обманчива. Корни их уходят очень глубоко подпочву, в деревянный век, ибо время в Глаголандии движется медленнее чем в других странах, и прошлое здесь с настоящим связано сильнее.

Любопытно, что первые попытки описания страны (такие как Грамматические Уложения Лаврентия Зизания) относятся к Межэрю Смутного Времени, когда ещё воскресали невинно-убиенные царицы, правили самозванцы, и от дьявола никому житья не было. Но при этом церковно-славянское уже сменялось светско-словянским.

Отцом-основателем современной Глаголандии считается А.С. Пушкин. «Пушкин наше всё, а мы...» — любят повторять за начальством благодетельные глаги, при этом подмигивая друг другу и самим себе.

5. СЛОВГОРОД

Словгород, древняя столица (и единственный город) Глаголандии, если смотреть сверху, представляет собой уникальный каменный текст, ошестинившийся иглами шпилей, со словами зданий, длинными фразами улиц и чёрными точками площадей в конце, вывесками на домах, обозначающими названия глав, вкраплениями античных цитат,...

Урбосемиотика (наука, изучающая и расшифровывающая этот текст) одна из главных областей исследования в Глаголандском Университете.

В центре столицы покрытый зелёной патиной памятник из слухов в форме гигантского кукиша. У подножия кукиша каменная чаша с журчащим фонтаном.

Вокруг памятника по утрам стоят прилавки. Тут торгуют крикливые силлабы в цветастых кофтах — предлагают по дешёвке благодать, разливают по бидонам светящуюся, пенящуюся алиллую, словесный мёд и виршевичную похлёбку, железными совками насыпают из джутовых мешков крупу из мелкого петита.

Мелкие торговки, местные шахер-махеризады, зазывают недоверчивых покупательниц, рассказывают

сказки, расцвеченные лжинками, о своих заморских товарах.

Румяные лингвины в белых хрустящих передниках продают знаменитые глаголандские вербублы из поджаристого словесного теста с зияющей пустотой посредине. (В народе вербублы эти считают метафорой всей Глаголандии. Считается, что через их поедание происходит приобщение к исконным глаголандским ценностям, к пониманию священной пустоты, заключённой в глагах. Каждая праздничная трапеза завершается обрядом поедания вербублов.).

Между прилавков торчат кокетливые красные будочки ЖМ-уалетов (совместных женско-мужских туалетов) с блестящими металлическими ручками. К будкам тянутся, похожие на нетерпеливо перебирающих лапами сороконожек, длинные очереди.

Дородные глаголандские матроны с маленькими головами и всевозможные булы (фабулы, вокабулы, буллы, инкунабулы), плотно покрытые украшениями, бродят между прилавками и ЖМ-уалетами. Вращают зрчками, изливают душу куда попало, рассматривают товары, фильтруют базар. Жесты их всё время толкаются, налегают друг на друга.

Позвякивают медные дребеденьги в пришитых к необъятным поясам кошельках. Бесформенные груди плывут над прилавками, трясутся, волнуются многослойные юбки. Шевелятся красные рты, лиловые зубы сверкают в огромных ожерельниках, ошейниках из жемчужных ожерелий и синяков. Когда они наклоняются над прилав-

ками и близоруко ощупывают глазами разложенные товары, ожерельники натягиваются туго на гофрированных жирных шеях.

Торговки и покупательницы никогда не могут найти общего языка. Иногда даже без всякой задней мысли пальцы в рот друг дружке кладут, общий язык там найти надеются. Но языки у них, хоть и все без костей, но слишком уж разные. А головы на плечах варят плохо, и ума приложить они ни к чему не могут. Только пальцы себе облизывают, а всё мимо ушей пройдёт напрямик насмарку.

Из-умлённый, вышедший из ума, городской юродивый В?с?ё?, в котором каждая буква корчится под вопросом (когда-то он был профессором в Университете и прославился шизобретением новой грамматики без знаков препинания для свободного, ничем не ограниченного общения), бегаёт в прорезиненном макинтоше с закрытыми глазами по базару. Под глазами у него покачиваются изжелта-синие мешки, набухшие от видений.

Размахивая костлявыми руками, из-умлённый подглазомешочник отгоняет исцудия своего воспалённого мозга, безуспешно призывает пока не поздно покаяться и перестать торговать. Вся Глаголандия должна стать храмом Слова, и торговцев надо немедленно из храма изгнать.

Когда В?с?ё? останавливается и, задышавшись, стоит с опущенной на грудь курчавой головой и пристёгнутыми, прижатыми к стегну, ладонями в позе, напоминающей известный памятник великому поэту, вены голубыми змейками сползаются к его вискам, и становится слышно

как стеклянная Птица-Кашель, живущая у него в грудной клетке, бьётся тяжёлыми крыльями, пытается вырваться наружу.

Фасад Собора Св. Грамматики обращён к рыночной площади. На паперти у провала открытой двери Собора всегда сидит, нагнув голову и выставив обрубок, обмотанный маслянистыми тряпками, ух!мылистый калека Полусло с обрезанным последним слогом. Позвякивая медными дребеденьгами в консервной банке, он требует милостыню у входящих. Одинокий клок, словно иссиня-чёрный изогнутый рог, угрожающе торчит у него из макушки. В лице что-то явно противоречащее заповеди «Возлюби ближнего своего».

Осанистые голуби, важно выпучив пухлые, прилизанные животы, прохаживаются у него за спиной и внимательно наблюдают, кто и сколько даёт.

Ух!мылистый Полусло и его из-умлённый дружок-подглазномешочник В?с?ё? живут здесь же на базаре. Утром какая-нибудь из силлаб всегда находит под своим прилавком обоих друзей, которые спят, обнявшись под прорезиненным, мокрым от росы макинтошем и, высунав друг к другу белые языки, мирно похрапывают.

6. ГЛАГОЛИАНСТВО. СОБОР СВ. ГРАММАТИКИ

Слова в Глаголандии верят, что они созданы по образу и подобию Слова, и поэтому им самим дано решать, как Ему служить. Большинство из них живёт внутри сложившейся веками глаголианской церковной традиции.

Пансловизм — учение о том, что истинным бытием обладают только слова, и остальной мир есть лишь искажённое отражение мира слов — является основной частью глаголианства.

Неоклассический Собор Св. Грамматики с золотым куполом в виде набухшей женской груди с торчащим чёрным крестом на соске и прижавшимися к ней золотыми затылком четырёх куполят — самый главный собор Глаголианской Автокефальной Церкви. Всего в стране 33 собора или, как их называют глаголандцы, 33 видимые тени Логоса. Число 33 (Двойная Троица) считается священным, ибо из 33 букв состоят все видимые тени обитателей страны.

Сияющая крестососковая купологрудь Собора видна далеко за границами Словгорода. По утрам, когда по всей Глаголандии поют колокола, и солнце выстилает слепящим блеском равнину вокруг города, идущие с Болот пухлые облака, похожие на огромных румяных младенцев, останавливаются над Собором, надолго припадают к его купологрудь и — уже отяжелевшие, набухшие животительной влагой — медленно плывут дальше, оставляя за собою радугу — горящий, изогнутый мост надо всю страной от Болот и до Гор. Семь его цветов расслаиваются. Изогнутые полосы неба проступают между семью цветными мостами. Мосты растворяются в сверкающей небизне, и на вершинах Гор, на самой границе между светом и темнотою появляются огромные, смутные фигуры ушедших.

В морозные зимние дни, когда воздух особенно чист, над Собором проступает перевёрнутая купологрудь, касающаяся своим чёрным соском соска на куполе, как напоминание, что земная Глаголандия — только отражение небесной. При этом соединённые купологруды превращаются в песочные часы над Словгородом, и жёлтые небезги медленно пересыпаются в соборную купологрудь, отмеряя время.

Современное здание Собора было построено в начале 19 века, но скрипта относится ещё к церковно-славянскому периоду.

В скрипте находится Универсальный Орфоэпический Тезаурус. Там содержатся имена и толкования всех когда либо живших в стране слов и маленькие стеклянные усыпальницы со светящимися нетленными мощами святых невинно-убиенных детей кириллицы — Ижицы, Яти, Фиты.

Квадратные колонны Собора, доверху расписанные бледно-розовыми фресками, переходят в мощные арки.

Двенадцать длинных, узких окон-витражей висят, как застывший фейерверк, внутри разбухшей от молений купологруды.

Пространство внутри Собора сильно искривлено. Солнечные лучи, проходя сквозь витражи, изгибаются в воздухе и сливаются в широкое цветное пятно на полу перед алтарём. Посредине пятна, в центре двенадцатикратного случия стоит столпоспираль вознесения — столп спиралью вьющихся, возносящихся в небо мраморных женских тел в развевающихся одеждах.

Каждое воскресенье Архиепископ Глаголандский Лингвус Второй в усыпанной кириллицей белой епитрахили с красной подоплёкой и с округлой панагией на груди под колокольный перезвон-глаговест совершает обряд освящения глагов.

Старинные слова из со-словия лингвистических универсалий стоят на коленях, опустив бороды на грудь, вокруг Архиепископа. Высоко над ними золотом выбитая в стене надпись «Знай, перед Кем стоишь!» наливается светом.

Велеречивые, скользкие духом словеласы в элегантных чёрных костюмах и белых рубахах с накрахмаленными воротниками и жеманные, костлявые вокабулы в длинных платьях с кружевными манжетами и со свисающими набок окончаниями, стоят, торжественно вытянув шеи. Вместе с паломниками со всего мира, заполнившими Собор, они сослушиваются, раскрывают в слушании свои души.

Архиепископ умело трогает тонкие душевные струны, и тысячей арф сразу отзывается в них словоявленная, околоколенная лепота великого обряда.

За амвоном хор лексичек под звуки арф тянет «Мы народ Твой, и Ты отец наш...». Исполненная глаголепия, смиренной и величественной красоты древних глаголов, арфическая мелодия поднимается вверх, оседает в подсвеченных витражами горельефах пыли под сводами купологруды.

Бесформенные фигуры умолчания молятся на коленях перед образами крутолобых святых в красных одеждах. Стучат в сухие груди костлявыми кулачками с крепко зажатými в них крупцами веры. Влажные скорлупки застывших слёз искрятся на морщинистых щеках. Бережно кладут на пол перед образами свои истоведи — выстраданные, неистовые исповеди. Умилёнными взглядами разглаживают тёмные лики.

Словно в сообщающихся сосудах, свет двенадцатикратного соборного случия сливается со светом в их душах.

Ауроголовые и наухоёмкие, способные услышать и вобрать в себя много чужих грехов, сосмиренники-потаковники умного деланья с длинными белыми бородами строго смотрят вниз на склонившиеся головы.

Над трепещущим светом лампад тихо потрескивает аура в перекосившихся голубоватых нимбах.

Бывшие зэки, гулаговские глаги, прочно оскобировавшиеся (выделившие себя (внутри) толпы фигур умолчания) многочисленными (но невидимыми) скобками), стоят, сдвинув брови и вытянув перед собою руки, плотной кучкой прямо у клироса. Недоверчиво наблюдают за каждым движением Архиепископа.

Тонкие, жёлтые свечки, словно трепещущие восклицательные знаки, мерцают в скобках их огромных ладоней, но губы молитвы не произносят.

После службы за иконостасом, возле каменной раки с мощами Св.Тезауруса выстраивается длинная очередь. Здесь толстый, доброкозненный диакон разливает поварёшкой в бидончики святую воду и густым басом де-

ловито благословляет прихожанок. Закончив работу, он откидывает назад огромную голову и, размахивая сверкающей поварёшкой, неожиданно выворачивает наизнанку свой бас — затягивает тонким фальцетом ликующую акафистулу Св. Тезаурусу, написанную много лет назад знаменитым местным литургом.

В ночь по Вербное Воскресенье месяца в пустом Соборе встречаются Глагологос и четверо его помощников, Аттрибов, или их местоимения.

Сначала, развесив органы слуха, несколько минут стоят потеряв дар речи, смотрят, куда глаза глядят, вслушиваясь как Глагологос своей самой существенной частью, коренною морфемой, отдаёт себе отчёт. Говорит он медленно и с огромным напряжением. Перед каждой фразой внимательно слушает тишину, в которую должны войти его слова. Перед закрытыми глазами медленно проплывают в жёлтом потоке тысячи синих пружинок и головастика.

Когда последняя судорога пробегает у него по душе, Аттрибы поднимают руки над головой и, взметафорив друг друга, долго и самозабвенно молятся во всех своих трёх лицах под колокольный глаговест. Изумрудным светом мерцают зазоры между их тремя лицами и наэлектризованным, намоленным воздухом. В словах появляется Божье.

Перед концом службы над органом раздвигается я купологрудь Собора. Крест на её соске наклоняется к земле. С треском лопаются плезвонка, невидимая плёнка, натянутая на колокольный звон.

Сияющий кораблик с пятью вымолитвишками душами на борту, распуская прозрачные паруса, поднимается сквозь плывущие над страной сны в небо — туда, где оно превращается сначала в небосклон, а потом в небосвод — и, облепленный обрывками плезвонки и шелестом расстеленных крыльев, восходит к высокому центру Небесной Глаголандии.

С небосвода навстречу кораблику несутся в раскрытую купологрудь потоки животворящего дождя, и, как только первые капли касаются Глагологоса, она медленно закрывается.

Глагологос и Атрибы, распластавшись словно громадные чёрные птицы, засыпают прямо на каменном полу. Им снится Господь.

Тела их втекают в чью-то огромную душу.

7. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК. КЕНТАФОР. ЛЯСОТОЧИЛКА.

Сразу за Собором начинается Центральный Парк Словгорода.

Вдоль аллеи, посыпанных жёлтым песком, аккуратно подстриженные газоны с голубой травой, кустарник мелких стихов, огороженный низким штакетником. (В почве Глаголандии содержится большое количество питательных элементов, которые веками образовывались от гниения неродившихся слов).

Из кустарника торчат простатуированные, воплощённые в виде татуированных мраморных статуй, вьющиеся лаокооны абракадабр, двуликие анусы, нежные

ахинеи. Элегантно сгорбившиеся голые тела. Холёные белые ладони стыдливо прикрывают позеленевшую налобную фигню аккуратно прилипших к причинным (и одновременно следственным!) местам фиговых листков.

Разгоняя облака над стыдливой скульптурой, качают могучими кронами древние Азы, Буки, Вязы и Веди. По ночам корни их мерцают в голубой траве, подсвечивая изумрудным светом налобную фигню поёживающихся от холода статуй.

У самого старого из деревьев (Перевернутого Аза) необычайно длинный ствол, который во время дождя превращается в сверкающий вертикальный ручей. Листьев Перевернутого Аза никто не видел. Согласно местной легенде, его невидимые корни на небосводе, а крона проросла глубоко в глаголандскую почву.

Весной в Парке, когда буйствует махровая сирень и что-то лепечут, лопочут бьющиеся в белой эпилепсии лепестки на ветках, обмотанных засохшими нитями дождя, здесь можно встретить элегантных словеласов, фланирующих в поисках новых знакомств, или пару выводов, идущих далеко, или ходячего анекдота с бородой до пояса. (Опытные вокабулы говорят, что у этих анекдотов только во лбу семь пядей, а других мест — так и вовсе не счесть).

По жёлтым аллеям неторопливо гуляют целыми семействами степенные лексемы, демонстрируя свои пышные грамматические формы. Проходя мимо словеласов, они быстро закрывают глаза, словно невидимыми взгля-

дорезками отрезая под корень липкие взгляды, протянутые к их телам.

В центре Парка посредине круглой площади, известной в городе как Общее Место, стоит Кентафора, памятник-метафора в виде коньтекста и летящего на нём голого всадника без головы. Считается, что Кентафора олицетворяет, имперсонифицирует сдвоенную сущность, несущейся неизвестно куда, глаголандской истории. Каменные руки безголового уверенно скрещены на груди. Блестящее, покрытое патиной брюхо надорвано от смеха. Из паха всегда идёт пахучий пар. Тяжёлая капля солнца повисла на детодородном органе, уверенно торчащем из курчавой налобной фигни.

На полированном цоколе памятника набрайлены объёмным, понятным и слепому, окаменевшим горельефотекстом 33 кириличные буквы Двойной Троицы.

Перед Кентафорой на низеньких складных табуретках целыми днями сидят, выгнув свои длинные прозрачные ноги над пустыми бутылками, Инаковидящий Каллиграф, за небольшие деньги славянскою вязью вокаблучивающий теньевые портреты огласованных вокабул, и знаменитый Культурист, вдохновенно пишущий маслом картины с предметами мёртвой культуры, культюрморты, которые он тут же раздаёт прохожим. На каждой из картин среди обрывков холстов и обломков драпированных в красное античных статуй огромное блюдо с окровавленной культуркультёй — культёй, обрубком современной простатуированной глаголандской культуры.

Оба они в широких бархатных блузах. Головы срезаны пополам плоскими чёрными беретами. Вдоль сжатых, извилистых губ Культуриста бегают вприпрыжку маленький тик. Там, где он наталкивается на уголки рта, образуется пена, и голубая слюна танцующей ниточкой света стекает в жилистую шею. Широкие дужки чёрных очков веером распластаны на висках.

Собравшаяся вокруг Каллиграфа и Культуриста толпа восхищённо следит за их работой и что-то твердит в Одно Слово, всегда стоящее за спиной Культуриста. Одно Слово, не меняясь в лице, ласково улыбается само себе и не обращает на них внимания.

В средние века на Общем Месте находился фаллической формы позорный столб. К нему для всеобщего обозрения привязывали осуждённых преступниц, предварительно содрав с них все одежды и выбрив волосы на голове и внизу живота.

Немного поодаль от Общего Места вечный огонь, принявший форму качающегося от ветра, несгорающего куста. Пламя его состоит из всех семи цветов — от багрово-красного, стелющегося по земле, до фиолетово-синего, сливающегося с небизной над Кентафорой. Иногда языки пламени на минуту застывают, превращаясь в слово на незнакомом языке, но потом снова начинают свой бесконечный танец.

Правоверные Глаголиане верят, что раз в году над неопалимым кустом появляются огненные ступени великой Целестницы, лестницы без перил, ведущей вертикально через узкий туннель в небосводе на Другую Сторону

в Небесную Глаголандию. Повитая искрами Св.Грамматика, откинув голову, неторопливо поднимается из огня по Целестнице, рассыпает пригоршни светящихся, серебряных букв в красное крошево крашенных глаголандских крыш и во всей своей славе возносится над страной.

По вечерам вокруг семицветного пламени на короточках часами сидят любопытствующие, хлюпающие носом, почемучающиеся от любопытства, детишки. Подбрасывают щепки в огонь. Пытаются разглядеть проступающий в искрах облик Св. Грамматики и огненную Целестницу над нею.

Лохматые, цветные агарки, куски горящего пространства, оторванные от огня, с треском лопаются, превращаются в густой рой танцующих бабочек над головами любопытствующих малых глаголандцев, над безголовым всадником и над его коньтекстом.

Длинная, узкая улица въётся от Парка к Лясоточилке или просто Ляске, самому популярному, самому гламурному в городе кафе. (Поскольку в Словгороде нет общественного транспорта, нет там и прямых улиц. Сделано это ещё и для того, чтобы глаги не маячили друг перед другом, чтобы они могли сохранять свою экзистенциальную одиночность во время вечерних прогулок, когда они думают о жизни).

На изгибающейся каждым своим домом улице, ведущей к Ляске, находятся все главные магазины страны. Переливаются огнями белые булочные, оранжевые галантереи, фиолетовые аптеки. На мостовой мешки из пластика как волдыри, натёртые ногами пешеходов. Среди перемигивающихся фонарей зеркала в витринах обра-

зуют электрический калейдоскоп, в котором часами поплещут зрачки глаголандские дамы, изучая себя с разных точек зрения, перед тем, как войти в кафе.

Вечером, когда облака над Словгородом распускаются в заходящем солнце лепестками огромных бело-розовых небесных цветов, в Ляске за круглыми пластмассовыми столиками сидят вместе со своими на всё готовыми прилагательными клевретами игривоигривуазные, расфуфыренные, буквально переливающиеся каждой буквой катархезы, синекдохи, метонимии, овеванные сложными комбинациями духов и деодорантов. Голые руки с длинными пальцами и изогнутыми перламутровыми ногтями плавно выводят что-то в воздухе мерцающими сигаретами в янтарных мундштуках. Приторные запахи бедокурева — наркотиков, вдыхаемых вместе с сигаретным дымом и запахом духов — неподвижно и прочно висят над головами.

В последнее время среди посетительниц кафе становится всё более модным лёгкий налёт иронии, так что иносказующие синекдохи и катархезы часто добавляют к своим замысловатым туалетам заметное только для посвящённых двойное оперенье аллюзий и кавычек.

Особенно уютно сидеть в Ляске поздно ночью с бокалом горячего вина, когда накрапывает дождик, и окна превращаются в затканые далёкими звёздами, блёклые небелены — небесные гобелены на стенах. В глубине небеленов мерцают шёлковые нити. На столиках трепещут свечки, и тёмным, золотистым маслом переливаются между небеленами картины старых глаголандских мастеров.

Много любопытных историй начиналось в Ляске. Много случайных связей (для которых всё же были свои причины) и неразвязуемых брачно-гордиевских узлов завязалось тут. Многие из этих причиннослучайных связей стали частью местной легенды, вошли в аналы глаголандской истории и по сей день мирно пребывают там.

Слово за слово, бесконечные неразговоры, где узоры из многозначительных пауз прострочены ниточками вздох (неогласованных, бездыханных вздохов), переливаясь, плывут каждый вечер по залам Ляски между неизречённых намёков, туманно-эзопых экивоков, криво толков, румяных от свежей крови слухов. Слово сплывает в мелькающие взгляды, расплетая густую пряжу из каннабиса и никотина.

Жизнемождённые, мудосочные официанты в изжелта-белых кителях летают с круглыми серебряными подносами над головами между столиков. С кухни сквозь приоткрытую дверь доносится корявая кириллица поваров, перемешанная с латунной латинницей громыхающих кастрюлей и мисок.

По низенькой сцене порхает голубая скрипка с огненно-красным смычком в сверкающих манжетах лысого маэстро. Его круглое безбровое лицо с закрытыми глазами описывает плавные круги над смычком.

Бьётся в углу над клавишами оскаленного пианино маленький чёрный тапёр с писклявым женским голосом, застрявшим у него в левом ухе.

Каждый вечер ещё за полчаса до открытия ухоголосый тапёр уже сидит за своим оскалино. Прислушиваясь к кончикам своих пальцев, он внимательно смотрит в окно, где рассаживаются на провода воробы. Тела их образуют нотную запись новой мелодии. Мелодию эту он должен будет исполнить, когда в кафе войдут первые посетительницы.

Лениво потягивая кофе, увитые городскими сплетнями посетительницы паузят умело свои неразговоры щебечущей болтовнёю. Часами склоняют на все лады и деконструируют вокабулы за соседними столиками, внимательно изучают материальную флору — растения и цветы в материи их платьев.

Флора эта очень разнообразна, но никогда не бывает случайной. В сочетании цветов — всегда посланье, для тех кто умеет читать. Много может сказать глаголандская женщина на языке цветов.

Часто можно увидеть, как страстные маки или трепещущие орхидеи, уютно устроившиеся в тёплом междубедрии, просыпаются, когда обёрнутая ими расфуфря встаёт, и под пристальными взглядами окружающих глагов распускаются, расцветают на мгновение по всему её телу. Она выходит из кафе, оглядывается по сторонам и поправляет завивающуюся от ветра цветастую вьюбку. Отряхивая прилипшие взгляды, поглаживает себя по бёдрам, и цветы обиженно закрываются.

8. ЖИВОЯЗЫЧНИКИ.

Секты дваждырождённых живоязычников (тех, кем жив язык), появились в стране ещё в 17 веке. Ничевоки, топтуны, хлысты, трясуны, радения которых иногда кончались и свальным грехом, в начале 20 века распространились по всей стране.

Позднее появились здесьники-сейчасники, которые верят только в то, что происходит здесь и сейчас, и топомольцы, поклоняющиеся топору, как универсальному символу силы и справедливости. Кроме того в стране есть хоминычи — сыновья человеческие и последователи Св. Фомы, так называемые касатики-кожеверы, верящие наощупь, не верящие ничему кроме собственной кожи. Для них звуки распускаются только в телесных касаньях, в прикосновении к видимой тени слова. Священные книги кожеверов являются переводами с истинных текстов касаний.

Среди университетских профессоров недавно появилась секта двоеверных живоязычников-диагностиков, отпавших от официального глаголианства приверженцев диалектического гностицизма — диалектики герметического знания посвящённых. Двоеверные диагностики верят, что им удаётся совместить в высшем синтезе язычество, веру в древних и могущественных словобогов языка, и монотеизм Логоса. В радениях-мистериях, посвященных языческим словобогам, открывается для них чувственная сторона единого Слова-Логоса.

Долгие годы беспощадно боролись с сектами власти, так что пришлось им уйти в глубокое подполье. По-

следнее время снова они расцветают сотнями храмов и домов молельных по всей стране.

Некоторые из братьев, успешно пройдя сквозь смыслопогранку и заумь, снова становятся на тернистый путь юродства.

Маленькая бревенчатая цркъвка секты существительных живоязычников, выстроенная в стиле русского рококо с фигурными наличниками, рококошниками, поясками, рюшами, изразцами и глазурованной черепицей, находится на окраине Парка. Грибница её маковок, уютно закутанных в цветастые, азиатские кофты, плывёт в небизне над шуршащими кронами Азов, Буков, Вязов и Ведей. Полоски тонко-зелёной бревенчатой гнили мерцают между брёвнами.

По субботам вокруг глубокой чёрной дыры-алтаря в центре церковки, взявшись за руки в фразы и сцепив их круговую порукою рифм, наполняются до краёв биением сердца и ритмолепием, исступлённо танцуют живоязычники в нахлобученных мозгогрейках, растёгнутых стекловатниках (ватниках из стекловаты) и кирзовых сапогах. Поверх стекловатников (надетых на голое тело чтобы не забывать о плоти и во время радения) начищенные медные зеркала-кузунги. Кружащиеся, плачущие, самоисступляющиеся братья отражаются друг в друге.

Над ними на подмосте за столом, покрытым зелёным сукном, словно в президиуме собрания, сидят три неподвижных слова с длинными белыми бородами. Лица их совершенно ничего не отражают.

Под всё нарастающие удары бубна внизу слова-живоязычники понемногу теряют смысл и становятся необычайно лёгкими, прозрачными. Глаза их опухают от слёз. Медленным хороводом кружатся окна, пятна на стенах, кружится вся цркъвка вокруг дыры-алтаря. Ось её начинает светиться. Темнота, притаившаяся в алтаре, выливается фонтаном света на головы молящихся.

В приливах выдохновения из тел выходят голоса. Радеющие выкликуши прорицают, прорицают пословно о каждом из братьев, голосятся в бессвязных глассолиях, не зная сами, о чём глаголают, но понимают при этом друг друга без слов.

На лбах, залитых потом, между надбровных радуг овечьей кровью прочерчены шевелящиеся кресты. Светящиеся потопотоки струятся по твёрдым синим венам в шеи. Искажённые лица уже далеко по ту сторону красоты и уродства и всего остального.

Жёлтые нити, как тысячи молзигнийзагов, маленьких сплетённых зигзагов молний, с электрическим треском скользят по стекловатникам.

Нестройно, едва касаясь старческими голосами молятся, восхищают Слово.

Голые стены церкви пузырятся, словно вскипающее молоко, и дыра-алтарь становится чёрной воронкой, в которую тоненькой, живую струйкой стекает их пеньё.

Камлания начинаются сразу с восходом солнца. К концу дня голоса сливаются в бормочущий свод над дырой. У живоязычников начинаются спазмы немоты, спазмы блаженного ликующего ужаса. Они уходят на время из

времени, валяются на каменный пол вокруг алтаря и в изнеможении лежат со сплюснутыми душами отдельно от тел.

Всё это время президиумные старцы сидят неподвижно на помосте.

Последний солнечный луч, расщепив занавеску в мутном окне под потолком, поочередно помечает воскресательным знаком каждого из распластанных братьев, обмывает их лица проточным сиянием и осторожно взлучивает, взламывает им веки.

Ещё облепленные великими снами продирают они глаза, молча отряхают пересверки молзигнийзагов со стекловатников и тоекратно целуются в губы. Воскресательные знаки разгораются всё ярче на груди в зеркалах-кузунгах.

К словам возвращаются голоса, и души их снова наполняются, приобретают объём.

Возвеселившись духом, они торжественно пожимают друг другу руки. Линии сердца в ладонях плотно сплетаются. Долго стоят неподвижно. Потом, напавив мокрые от пота мозгогрейки, неохотно расходятся по домам.

И только президиумные старцы остаются неподвижно сидеть на помосте.

9. ЛУПОНАРИУМ ДЛЯ ПРЕЛЮБОТВОРЧЕСТВА.

Позади базарной площади находится известное на всю страну увеселительное заведение — Лупонариум или просто Л, как любовно называют его постоянные клиенты.

Над входом в Лупонариум огромный портрет во весь рост обнажённой хозяйки заведения на фоне звёздного неба, выполненный акриловыми красками... Вместо сосков у неё ультрафиолетовые глаза под гуустыми, прилизанными бровями. Зрачки соскобровой красавицы сияют, словно она только-что испытала оргазм, но при этом умудряются пристально следить за прохожими. Возрожденные напудренные бёдра нависают прямо над входом. Таинственная пронежность в междубедрии прикрыта пятивеером унизанных кольцами, растопыренных пальцев одинаковой длины. Между пальцев прозрачные перепонки. Широко расставленные буквой Л мощные ноги немного согнуты в коленях, так что посетители должны, задрав голову, протискиваться через треугольную дверь между ними.

По обе стороны от двери свисают с изогнутых стеблей стеклоплоды, налитые червлёным, мерцающим оловом-золотом. В их неверном свете подрагивают над сосками прилизанные брови, подмигивают глаза. Колышется, вибрирует перепонками сверкающий пятивеер над глубокой влуминой междубедрия.

Нетерпеливая дрожь всего её большого акрилового тела передаётся входящим в Л клиентам.

Улочки вокруг Л всегда полны народу. По узким тротуарам фланируют с независимым видом туристы. Словно невзначай, рассматривают удоболюбивых, приветливых сумасводниц-лупорнушек. Девушки стоят, прислонившись к стенам, в фосфорисцирующем, ажурном дезабелье из батерфляина (специальный трепетоносный

материал, изготавливаемый для них из крыльев бабочек) и высоких кавалерийских ботфортах.

Застывший дождь из разноцветных осколков глаз переливается в витринах сексшопов, аптек, отелей.

Большинство клиентов — приезжающие в виде слов, молодые словоохотливые туристы-графоманы с голодными глазами или пожилые, но малоизвестные литераторы, для которых посещение Л — их последняя либидиная песня. Около пяти вечера здесь также полно местных глагов, которые после работы заходят на часок отдохнуть в Л перед тем, как возвращаться домой.

Увлажнённолонные, молоденькие двойнюшки прохаживаются парами между сексшопами и аптеками, поигрывают ключами от комнат, трендят похабельками, собирают оценивающие взгляды. В тёмных проёмах между домами пожилые, умело покрашенные лингвопутаны на высоких каблуках науськивают на себя проходящих мимо любителей разнополой любви. Призывно закрывая глаза, водят красными фаллюбиками помады по выпученным губам.

Их опекуны-секспродавцы, смешавшись с толпой клиентов, тактично присматривают за ними.

Согласно глаголандским половоззрениям, проституция и преблудодеяние — любовная связь, подготавливающая искусомужную женщину к тому, чтобы стать проституткой — не являются преступлением.

Многие лупорнушки даже во время работы продолжают любить своих опекунов. Их мимолюбие, спо-

способность любить взахлёб любого за умеренную плату, любить мимо того, кого действительно любишь, всегда остаётся волнующей загадкой для клиентов.

Кроме девушек, продающих женское тепло в самом заведении, в стране много конкубироток и эзотеричек, работающих дома и доступных только посвящённым, у которых есть их телефонные номера.

Глаголандские лупорнушки и паникурвы очень склонны к панике. Иногда хватаги местных мальчишек поджигают шины у входа в Л, и девушки, почуяв запах дыма, сбрасывают клиентов и под хохот малых глаголандцев вчёмматрождённые выбегают с криками на улицу.

Для серьёзно интересующихся прелюботворчеством, созданием новых сексуальных ценностей, либидоносных клиенток женского пола и обоеполых женомужей-феминандов в Л под руководством самых квалифицированных, лесбианнейших преподавательниц проводятся полуполовые акты, камасутренники и мастер-классы медитативной мастурбации и мастурбативной медитации.

Ночью сексофония слипшихся ежесoitельных стонов и оргазмов расцветает над крышей заведения, как застывший многоголосый салют в честь горизонтального праздника бурно коитусующихся клиентов.

В связи с усилившейся в последнее время импотенцией и новой модой на платонический секс, лишён-

ный чувственности, и даже на целомудрие, сексофония у коренных глагов большого интереса не вызывает.

Словоблудство уже не считается признаком хорошего тона, так что простыдившимся до тла лингвопутанам перед вступлением в законный брак после бурной жизни приходится долго целомудриться и священнодевствовать (совершать, сопровождаемый клятвами, обряд говорения о своей девственности) или даже проходить болезненную процедуру рефлорации — восстановления утраченной девственности. Вторая, в муках обрётённая девственность этих оцеломудрившихся, но не потерявших накопленного в Л опыта, рефлоранток ценится специалистами гораздо выше первой.

В последний день каждого месяца в Л устраивают вечер поэзии, известный среди постоянных клиентов как Ночь Длинных Хореев. В зале, битком набитом затаившими дыхание сексопродавцами и туристами, возбуждённые, дышащие сразу всеми отверстиями своих тел, девушки в ослепительных бюстдольтерах и миниюбочках из прозрачного батерфляина медленно и выдохновенно исполняют стриптизповеди — читают нараспев собственные стихи о неразделённой любви. Сладосластно изгибаются до боли знакомые, увлажнённолонные тела. Качаются острые серпики воткнутой в виски чёрных волос.

В прохорееных (написанных по традиции пятистопным хореем) стихах отсутствие рифмы и смысла более чем компенсируется трепетной искренностью исполнения.

Раскрытые сборники этих поэтических опусов, отпечатанные голубыми кириллическими буквами на розовой, благоухающей бумаге, всегда лежат на тумбочках у постелей в каждой комнате для интеллигентных клиентов-почитателей, которые любят почитать, пока их обслуживают.

10. БЛАГОЛАНДИЯ.

На одной из окраин Словгорода расположен маленький, утопающий в зелени район Благоландия.

Жители Благоландии (благолы или благи) не жгут, но врачуют сердца. Здесь никто не держит зла. Его негде держать среди благолов. Хотя многие из них работают радистами (специалистами по доставлению радости) в городской госпсепсихбольнице, и там со зло-словием сталкиваются очень часто, но зло к ним не прилипает.

Врагов своих благолы возлюбить не могут, потому что нет у них врагов. Раскаянье им неведомо, и от этого они очень мучаются. Их добро-та-ли-ещё (?) давно стала притчей во всех глаголандских языцах.

Утром около девяти часов, когда первый глаговест проплывает в люльках высоких звонниц над Словгородом, в окнах белокаменных благоландских домов, вытянув динные шеи, стоят неподвижно молодые женщины и слушают небо. Они верят, что одной из них суждено зачать от луча, который войдёт в её ухо. И скрипичные ключи дыма вылезают из труб, повисают вопросительными знаками над красными крышами.

Мимо них, поигрывая лысайчиками, зайчиками от своих внушительных лысин, и покачивая приветливыми улыбками, вдоль сверкающих росой газонов семянят на службу в госпсепсихбольницу увешанные панацеями благи.

11. МЕДИЦИНА. ГОСПЕЦПСИХБОЛЬНИЦА.

Спецпсихбольница старейшее и наиболее уважаемое медицинское учреждение в стране. Она обслуживает не только коренное население, но и туристов, приезжающих под видом глаголов.

Глаголандская протомедицина (заговоры, ворожба, прибормочечки — заклинания против болезней) уходит своими корнями в глубокую древность, когда первые поселенцы (глаголичи) из Праязыковых Болот переправились через Родную Речку.

Позднее душеведение и исцеление словом стало главной частью официального глаголианства и его Вербодицеи.

Несмотря на враждебное фразеологическое окружение и издевательства, которые им приходится терпеть на работе, глаги болеют очень редко. Возможно, это объясняется интенсивным естественным отбором, который происходил в стране в течение последнего тысячелетия.

У входа в больницу гранитная апофатическая колоннада. Считается, что уникальный ритм чередования 33х чёрных колонн и светящихся пустот между ними оказывает целебное гармонизирующее действие на души входящих.

Из треугольного фронтона, над мерцающими алмазной сажей гранитными буклями, торчит свернувшаяся в круг каменная змея, поедающая собственный хвост, и внутри неё Руссофеникс, недавно воскресшая и исцелённая госпитца-карнизница с золочёными огромными крыльями и двумя неотличимыми головами, всё время высматривающими кого бы клюнуть. Глаги верят, что каждую ночь головы меняются местами.

Под Руссофениксом в змее выкуршено красивым наклонным курсивом Госспецпсихбольница.

Пройдя вдоль чередованья пустот апофатической колоннады, посетитель оказывается в фойе, стеклянный купол которого покрашен густо-синим и усыпан белыми взрывами звёзд.

Из купола спускается молитвостих в виде люстры, искресающей мириарды мутных, старинных светулек-заклинаний против всех возможных болезней.

Внизу под лучащимся шаром молитвостиха заросшая мхом деревянная будка. Подслеповатая бдительница в пуховом оренбургском платке круглые сутки вяжет стеклянными спицами электрический свет и, не отрываясь от вязания, кивает раскрытым удостоверениям проходящих сестёр-целилок, лучащихся добродетельством лысых душезнаек-благослов и опанацеянных докторов филологии.

Рой невидимых инфекций кружится вокруг оренбургского платка.

Самой распространённой болезнью в стране является истощение души и асемантическая депрессия. Она появляется у отвыкшихся, избегающих себя, десемитизировавшихся, не вошедших в язык глаголов-изгоев, которым кажется, что их не хотят употреблять, или что потеряна одна из их теней.

Как уже отмечалось, у обитателей страны имеется две тени: видимая, обозначаема последовательностью букв, и слышимая, обозначаема последовательностью звуков. (Единственными исключениями из правила двоятия являются Глагологос, слышимую тень которого все озвучивать запрещается, и экзистенциальный инфинитив есть, у которого иногда исчезает видимая тень).

У здоровых глаголов настоящего времени большую часть работы делают за них словоформы-тени. Самогонка, погоня за собственной ускользающей тенью, и, даже недолгое, исчезновение одной из теней приводят к глубокой депрессии у обезтенившегося глагола.

Числительные глаголы (числословы) имеют три тени, одну слышимую и две видимых (изображаемых буквами или цифрами), и поэтому депрессия у числословов встречается гораздо реже.

Из более серьёзных болезней особо опасными являются патологическая граммофобия и омонимическая шизофрения — раздвоение, двузлость глагольной личности.

Помимо них часто встречается летрянка, которая характеризуется неконтролируемым выделением букв по всему телу больного.

Нутропламенные гегемоны советского новояза часто впадают в маразм, когда ум их заходит за разум и остаётся там надолго, страдают манией величия-и-преследования и революцинациями, повторяющимися революционными галлюцинациями. С возрастом у них развивается так называемая головная мзгла, мгла в мозгу. Они начинают всё больше глючить, и сумеречное состояние их душ постепенно сменяется на полную мзглу и маразм.

Наблатыкавшиеся глаголы фени склонны к истерии. Многие медициники, циничные врачи психбольницы, считают их симулянтами и отказываются лечить.

В прошлом веке в стране произошло несколько эпидемий воспаления духа. (Самой известной была так называемая Великая Октябрьская Социалистическая Поллюция 17 года). Эпидемии эти сопровождалась приступами массовой эпилепсии, конвульсиями, революцинациями, кровопусканиями. Злогика классовой борьбы часто приводила к руколепсии (хронической болезни, сопровождающейся хлопками в ладоши в знак бессмысленного одобрения всего, что произошло, происходит и произойдёт). Полностью разимевшие своё мнение, впавшие в руколепсию глаголы, десятилетиями не могли их неё выпасть. Руколепсия понемногу перерождалась в этический аутизм и кончалась ментальным исходом для большого количества хаммо-советикусов.

У обезмузившихся поэтических глаголов ненависть к звучанию собственной тени иногда приводит к острому психозу. Кроме того у них встречается также диахоррея

с жидкими, рифмованными хореем версифекалиями и параноидальная стихастения, для которой характерно ощущение бессилия, перемежающегося бредом навязчивых метафор.

Летрянка и диахоррея считаются очень заразными.

Большинство лекарств, используемых при эготерапии, относится к классу активных противоявий. Мы упомянем здесь гиперболин (для лечения депрессии) и метаморфий (который очень эффективен при омонимической шизофрении). Принудительная трудотерапия (Шизифов Труд), широко использовавшаяся в советское время для лечения «вялотекущей» шизофрении, теперь почти не применяется.

Лекарства обычно вводятся внутривенно. Для поэтических глаголов перед введением метаморфия или гиперболина всегда выверяют (по хорее или по ямбу) пульс больного.

Так как в Глаголандии из соображений секретности наиболее важные сообщения передаются только телепатически, и расшифровка телепатом требует огромного умственного напряжения, в Госспецпсихбольнице имеется отделение телепатологии для лечения болезней, связанными с передачей мыслей на расстояние. Наиболее распространённой среди этих болезней является энергетический телевампиризм.

При лечении асемантической депрессии и десемантизации также весьма успешно применяется, разрабо-

танная местными докторами-душистами, четырёхступенчатая процедура, состоящая из психорентгена для выявления темных пятен и каверн в преисподсознании пациента — преисподней подсознания, обычно плотно затянутой многослойной рефлексией, эгопальпирования преисподсознания наводящими вопросами, стихотерапии, заучивания бессмысленных стихов для высветления соответствующих участков души, и осемиочивания, придавания дополнительного значения личности пациента.

После завершения эгопальпирования включаются болемеры — специальные приборы для измерения душевной боли. Как только болемер начинает зашкаливать, стихотерапия прекращается, и душисты переходят к интенсивному осемиочиванию.

В редких случаях, когда медикоментозные или психотерапевтические противоявия не дают желаемых результатов и требуется хирургическое вмешательство, больницы хирурги-душеоператоры проводят даже самые сложные операции на открытой душе без анестезии.

Кроме обычных врачей-душистов и психоаналитиков-фрейдителей, специализирующихся на душевных болезнях у глагов, в больнице работает также большое количество докторов-плотников, занимающихся лечением патологических глаголов, души которых уплотнились, превратились в плоть.

12. УНИВЕРСИТЕТ.

Глаголандский Государственный Университ (ГГУ) занимает целый квартал вечно опоясанных электрическим светом зданий на набережной Родной Речки.

По утрам можно видеть, как в распахнутых настежь окнах ГГУ импотезантные профессора, задумчиво уставившись мысленным взором в Болота, слушают шум просодии, переливающийся серебристой чешуёю тонов. Пытаются угадать обертона. Их круглые головы мелко пульсируют. Так стоят они, вмысливаясь в просодию до глухоты, до первой вспышки смысла. И как только эти проблески появляются, сразу в творческом экстазе бросаются к столам их записывать.

Записанные вспышки становятся частью Глаголандской Вербодицеи.

Глаголандцы верят в вечно живого, всё время усложняющегося Логоса, о котором словами ничего сказать нельзя. Поэтому священных книг в стране нет, и Вербодицея, апология Слова, которая составляется уже тысячу лет, это единственный текст, хотя и не читаемый, но почитаемый всеми обитателями страны.

Точное количество студентов в ГГУ оценить трудно, так как большинство из них заочники. Никто не знает сколько их, зачем и чему они учатся.

Кроме основных факультетов литературы, поэзии, церковно-славянского языка, грамматики и эзотерической грамматософии, лексической социологии, се-

миотики и инстранных языков в последнее время были основаны кафедры урбосемиотики, астроллингвистики, археословия и ксенофени.

Кафедра астроллингвистики факультета иностранных языков занимается дискурсом звёздных текстов, расшифровкой посланий, заключенных в расположении звёзд, толкованием стихозвездий, трассирующих звёздных констелляций, навечно срифмованных в созвездья, и анализом их смыслообразующего потенциала.

Глаголандские звездюки-астралийцы с неба звёзд не хватают, но всё же каждую ночь вычитывают в астрале что-нибудь новое. Целыми сутками не выходят они из своих обсерваторий, питаясь исключительно космической энергией, входящей в них прямо с неба. При этом у многих космопитающихся развивается тяжёлая форма астрита — звёздной болезни, в результате которой они сами начинают считать себя звёздами первой величины.

Недавно на кафедре был подготовлен к печати первый в стране Астроллингвистический Гроссарий, большой словарь-тезаурус стихозвездий и их толкований. В словаре более 1000 единиц звёздного неба.

На кафедре археословия Доктора Филологии рассусоливают древнее руссословие, изучают археоявство-ведение — явствование, быт и умоначертание старинных слов Глаголруссии.

В архивах кафедры сутевики-анналисты анализируют суть анналов берестяных славянофилькиных грамот и утерянных рукописей, пытаются их приБоянить, приписать легендарному певцу Бояну или кому-нибудь ещё.

Кафедральные Далеведы выискивают своих Дальних родственников в Словаре Даля.

В потаённых урочищах Леса Тёмных Метафор не-лепобяшущие, похожие на подгнивших моховичков, профессора — кирилицеионеры, их глаголицы-ассистентки вместе с выводами жёлторотых студентов целыми днями роются в словесной подпочве родного языка, собирая по зёрнышку, по букровке прогнившие части речи прошедшего времени, чтобы сохранить предание отеческое.

Отделение сравнительной ксенофени занимается сравнительным анализом ненормативной лексики иностранных языков. Специальность эта, которая совсем ещё недавно была всем до фени, становится весьма популярной из-за растущих связей между братвой и иностранными мафиями. Выпускницы отделения ксенофени легко находят любовно-секретарскую работу в международных торговых фирмах.

Исследования по воскрешению глагов проводятся в Лаборатории имени Хлебникова при кафедре лексической социологии. В отличие от аналогичных работ, начатых в России ещё в конце 19 века Н.В. Федоровым, работы глаголандских учёных в этой области оказались весьма продуктивными.

Основные помещения лаборатории и хранилище прообразов ещё неестественных слов и протоэйдосов вместе с их коллюзиями ассонансных аллитераций находятся глубоко под землёй.

Там, в залитых голым электрическим светом огромных комнатах хмурые скорняки, увешанные обрезками мёртвых слов, выкраивают несуществующие глаголы с помощью хлебниковских ножниц-скорнений и трением буквы о букву пытаются высечь в них искры жизни.

Одухотворцы-неологи выращивают в окутанных клубами фиолетового пара нутробах изогнутых реторт и пузатых колб зародышей новых глаголандцев. Возбуждённо облизывая саблезубые рты, подмешивают в кипящее варево щепотки шипящих согласных. Пульсируют от напряжения неровные белые проборы на их головах.

Из углов, затаив дыхание, наблюдают за процедурой стаи голых чёртиков.

Длинные, качающиеся пуповины тянутся из реторт и колб к урчащим приводными ремнями филологическим машинам. Между пуповинами носятся, бесшумно наталкиваясь друг на друга, флюиды.

Клочки взбухающей плоти понемногу ословотворяются в сморщенные утробыши с нежными раздутыми головами и лукавыми неподвижными личиками. Они растут на глазах, умиротворённо сложив ручонки на животе, но очень быстро почти все погибают — и те нетерпеливые, кто сами перегрызают себе пуповину, и те, кто ждут, когда их пуповину перережет ножницами скорнений лабораторный повитух.

Безначальнозаконченность этих опытов (когда ничего ещё не начинается после того как всё уже закончилось) не мешает оглохшим на душу неологам каждое утро снова и с ещё большим азартом начинать свои эксперименты.

Коридоры университета украшены концептуальными инсталляциями из редких метафор и семиотическими фресками, подсвечеными соответствующими контекстами. На самой большой из них глаголандская лексиконница на рысях и с рифмами наперевес врзается в чёрную толпу рыцарей ксенофени.

Вдоль стен мраморные бюсты богоизбранных филольтян, эзотерических лексикологов, почётных языководов и грамматиков.

По коридорам, прижимая к плоским грудям пухлые папки, порхают стайками всхлипывающие лексички и одиноковые филофилки с очень нервными окончаниями, подающие (всем) надежды инспирантки со сверкающими лоптопками под мышками, эгастые волосатолицы студизусы в разорванных джинсах, из которых выпирает мужское. Перебрасываются для вящей лингвистичности отмыслами, многозначительными оттенками здравого смысла. Показывают друг другу (русский) язык.

Иногда во время междуречья можно услышать популярное здесь заклинание-ругательство филфакью. Заклинание это обычно грамматически и семантически изолировано от отмыслов и произносится в изъяснительном наклонении как констатация факта.

Во дворе ГГУ расположен экспериментальный Огород Неизящной Словесности, где пучатся из густо унавоженной почвы последние плоды университетского просвещения.

Посередине Огорода, как чучело, стоит в зелёной шляпе со страусовыми перьями и пиджаке наизнанку дальновидный (видный издалека), колченогий Оксиморон для

отпугивания любопытных и рядом с ним университетская солнцевзбивалка — специальная ветряная мельница для взбивания из воздуха солнечной пены.

На носу у Оксиморона массивные ореховые очки, пластмассовые волосы густо напудрены. Виски мерцают плесенью. Из открытого рта торчит записка. В вытянутой левой руке сияющая гелиоикебана — тщательно подобранный букет солнечных лучей. (Эта гелиоикебана является также центральной частью университетского герба).

На одной из грядок филофилки, с опаской поглядывая на Оксиморона, проводят эксперименты по глубинному каламбурению и добыче полезных ископаемых из словесной подпочвы Глаголандии. (Чаще всего, когда каламбурение достигает определённой глубины, из скважины начинает бить фонтан грязи).

По вечерам пожил-ой (ой, как долго пожил!) Огородоблюстителю в засаленном халате и солдатских сапогах, поблескивая финским ножом за голенищем, прохаживается между грядок. Морщинопись на его пергаментных щёках словно древний текст на утерянном языке. (Один из профессоров с кафедры археословия утверждает, что прочёл этот текст, и он оказался записанной морщинописью молитвой главному языческому словобогу Дид-Дуп-Глагу, но остальные профессора с ним не согласны).

Пожил-ой вытирает пыль с Оксиморона, меняет записку во рту, тщательно поправляет гелиоикебану, вырывает выросшие за ночь на грядках ядовитые буквицы. Потом вынимает из солнцевзбивалки цинковое ведро с накопившейся за день солнечной пеной и удобряет ею на глазах созревающие в грядках плоды просвещения.

После десяти часов вечера научная жизнь в ГГУ замирает. Луна всплывает на волнах Родной Речки. Жёлтые отблески её медленно полощутся в чёрных зеркалах ГГУшных окон. Только на самом верхнем этаже ещё светятся огоньки. Здесь в узких кельях-дормиториях, покуривая трын-траву Мари-Хуану Каннабис, оттягиваются студиязусы. Лениво штудируют истомых вокабул, готовятся к завтрашним занятиям.

13. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. СУДЫ. ТЮРЬМЫ.

Для борьбы с преступностью в Глаголандии существует специальная Грамматическая Служба.

Самыми распространёнными преступлениями в стране являются граммофобия, злостные нарушения грамматических законов, филоложные духовные происки, намеренное искажение смысла, кража и присвоение имён. Встречаются также плагиавторство (представление чужого своим, по отношению к поэтическим глаголам употребляется также термин метемстихоз — переселение чужих стихов в свои) и зацитачивание (представление своего чужим).

Из более серьёзных преступлений следует отметить словарьварство, варварское отношение к государственным словарям-тезаурусам, приводящее к нанесению ущерба их содержанию или даже к их полному уничтожению.

Крайне редко встречаются случаи преднамеренного вербоцида (словоубийства).

На работу в Граммслужбе отбирают только правословных переходных глаголов действия, причём самого совершенного вида. У большинства из них симметричные, пропалиндромированные тени. Между собой они говорят без слов, а с подследственными — как и положено по должности — изъясняются всегда в повелительном наклонении и в винительном падеже. (Остальные жители в стране общаются между собой в основном в наклонении сослагательном).

Дознание и суд проводятся в специальном кубической формы здании с прозрачными стенами, расположенном у самого края Леса Тёмных Метафор.

На ступенях у входа в здание гранитная статуя Судьбабы — коренастой, долбопытной женщины из простонародья, олицетворяющей одновременно суд и судьбу. Глаза Судьбабы завязаны тряпкой. Каменные трусы приспущены до колен. В мощной руке маленькие, почти незаметные весы. В другой меч с зазубринами.

Дорога, которая сюда ведёт, уставлена бетонными знаками препинания, так что идущим на суд приходится всё время приспосабливаться, менять направление, но в самом здании нет ни единой изогнутой линии.

Правосудие правых — прозрачно, неизбежно и прямолинейно!

В народе Дом Граммслужбы известен как Большой Дом Досвиданий. Тут после суда и перед отправкой в тюрьму осуждённые надолго прощаются с родственниками.

Тюрьма находится в подземных этажах того же Большого Дома. Специальный этаж отведён для умозаключённых, которых начальство всё время держит в уме. Большую часть времени они проводят за писанием стихов. Стихи эти обычно являются ламендициями и версификациями, жалобническим нанизыванием на рифму цитат из изречений Глагологосов.

Отпустив себя на рифмотёк, целыми днями сочиняют они государственным анапестом бесконечные версифицирующие оды и кантаты, которые при выходе из тюрьмы сдают в тюремное утильстихье. Затем Спецпоэты Граммслужбы под наблюдением начальства проводят вторичную переработку утильстихья на слова народных песен.

Песни эти впоследствии делают очень популярными и включают в школьные программы для анапестования учеников младших классов.

Офицеры Отдела Дознания Граммслужбы («зачищатели глагольных душ») ходят на работу в двубортных хитиновых пиджаках с синими ромбовидными значками на груди и в чёрных брюках с белыми узкими лампасами. Внутри значков мерцает золотом буквально оскаленная на допрашиваемых Буква Закона «Ы!».

Допросы обычно начинаются с того, что зачищатели умело лампасят часами голодушного обвиняемого, бегают мелкими шажками вокруг него, зачищают его голую душу лезвиями своих сверкающих острых лампас.

Потом вступают в дело ассоциаторы — специальные лентопротяжно-туфтогонные аппараты для вытяжки ассоциаций. Ассоциации эти используются зачищателями,

чтобы словчить — словить, поймать подследственного на слове, которое потом будет использоваться в качестве улики на суде.

Слушание дел и определение мер наказания в Верховном (и единственном) Суде Глаголандии проводится 4мя судьями по одному из каждой Строк Совета Второй Строфы. Судьи ежегодно назначаются Глагологосом. Все решения в Суде принимаются единогласно. Приговор обвиняемым не сообщается.

Сроки наказания колеблются от 15 суток тюрьмы за плагиаторство и зачитывание до 15 лет высылки на душеповал на дальние окраины Леса Тёмных Метафор за вербоцид.

До тех пор пока осуждённый находится в тюрьме, имя его запрещается произносить.

После отбытия наказания его выводят на чистую воду Родной Речки, где он, стоя по колено в животворящем потоке, должен в страдательном залоге совершить публичное покаяние. Глагологос, положив униженные чёрными перстнями руки ему на голову, произносит формулу прощения, и только после этого он снова становится свободным.

14. ГЛАГОЛАНДСКИЕ СНЫ.

Глаголандия славится неповторимыми снами своих обитателей. Особо почитаются цветные сны Глагологоса и его Атрибров, которым придаётся пророческий смысл.

Для каждого Ясновидящего, сновидящего Я, глаголандца Проспанная Треть — самая важная часть его жизни, ибо глаголандцы видят наяву то, что им снится..

Границы между снами и явью в стране полностью размыты, и явь Проспанной Трети неотличима от снов двух остальных третей, так что глаги часто не знают, в какой из третей они находятся сейчас. В океане сна всегда видны где-то на горизонте маленькие явьяки, а острые, застрявшие в чувствительной глаголей душе оснолки целыми днями царапают изнутри пробудившихся в Большую Явь.

Часто сон наваливается на глага в самое неподходящее время, например, когда жена раздевается, за минуту до того, как плюхнуться к нему в постель.

Среди присностихующих поэтических глагов считается, что по настоящему они бодрствуют только внутри своих снов. Только осуществив рокировку Яви и Сна, только в жизни вне тела у полностью осомнамбулировавшихся поэтов возникают онейроматические словидения, которые и есть настоящая поэзия. Суть всегда вне Яви. Поэтому большие глаголандские поэты живут почти не просыпаясь. Их жизни, напоминают матрёшки из снов, и в этих сомнатрёшках вещество сна всё более истончается и внутри каждого сна всегда новый и ещё более поэтический сон. Недремлющие ученики присностихующих переводят эти сны на язык слов.

Сноследствия, последствия от произошедшего во сне, определяют каждое утро в Большой Яви.

Сомнамбулический глаг, закемаривший вечером в Лупонарии и выпивший во сне пару лишних бутылок водки, просыпается с жуткой изжогой в душе и полностью утраченной памятью. Ему приходится часами тыкаться своими вопросонками в голую хихикающую девчонку, почему-то лежащую рядом, чтобы узнать, кто он и как сюда попал.

С другой стороны присновидящим глагам часто удаётся обделывать свои явные делишки в Проспанной Трети. Так нищий словелас, умело приснив себя какой-нибудь недоступной красавице-силлабе, совершает с ней удивительные сексуальные подвиги, о которых она и не догадается (или делает вид, что не догадывается).

На следующий день, когда они (не совсем случайно) встречаются в Парке, и он, лихорадочно прокручивая сны свои назад, несусловно бормочет, что «ему выяснились» — снились вы и я — она вспыхивает и брезгливо прищуривается. Проводит крест-накрест взглядом у него внизу живота и быстро уходит.

И снова Большая Явь сгущается вокруг.

ПОСЛЕ-СЛОВИЕ.

Поздно ночью, когда над Словгородом уже зажглась вылощенная лунным светом крестососковая купологрудь Собора Св. Грамматики с прижавшимися к ней куполями, и сонмы бессновидческих снов, так и ненашедших своих сновидцев, плывут цветными пузырями над крышиным антенником словгородских домов, наталкиваясь друг на друга и лопаясь, появляется Хранитель Глаголандии.

Он обходит страну, заботливо осматривает каждое спящее слово. Напевает колыбельную, отгоняет неприятные сны и, выходя из дома, одним движением взгляда завязывает в широкий бант дым над его трубою.

Закончив дымобантирование, Он поднимается в небо. Уверенными движениями поправляет немного перекосившуюся на бок луну, протирает звёзды влажною тряпкою тучи, выжимает её дождём на Праязыковые Болота, вывешивает тучу на просушку и, придирчиво осмотрев свою работу, укутывает страну на ночь звёздным покрывалом.

Уже перед самым рассветом Он отворяет невидимую дверцу на самом краю небосвода. Аккуратно сложив намокшие крылья, улыбается кому-то наверху и уходит на Другую Сторону.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Часть однословий настоящего Путеводителя взята из Толкового Орфоэпического Словаря Г. Марка, содержащего примерно 1250 единиц. Полный текст второго издания Словаря (2007г.) можно найти на <http://sites.bu.edu/mark/grigomark>

Около 250 единиц Словаря были напечатаны в журнале «Контекст», №9, 2003.

Критический анализ первого издания появился в работе М. Эпштейна «Однословие как Литературный Жанр», Разделы 5-6, Континет, 104, стр. 279-313, а также в М. Эпштейн, Знак Пробега, Новое Литературное Обозрение,

Москва, 2004, стр. 274-304. Автор пользуется случаем

выразить ему глубокую благодарность.

СКАЗКА ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ С ГОЛОЙ ИДЕЕЙ.



Однажды, ночью после дождичка в четверг, пара выводов, идущих далеко, столкнулась нос к носу с ходячим анекдотом. А был анекдот древний очень, с бородой до пояса. Всё тело волосами обросло. Только во лбу пядей семь штук. А в других местах, так вообще и не счесть.

Стоял он им поперёк дороги и, на ночь глядя, махал руками. Но при этом звёзд с неба не хватал.

Выводы мозгами пораскинули и попросили, чтобы анекдот им себя пересказал. А того хлебом не корми, дай покрасоваться. Глаза закатил и начал безо всякой задней мысли самого себя пересказывать. Язык у него подвешен хорошо, да содержание уж больно похабное. Здесь и повторить нельзя.

Вогнал он строгие выводы в краску, так что у них под конец крыша набекрень немного поехала. Прикрыли они руками лица и смотрят сквозь пальцы как анекдот ходун ходит, душу свою изливает куда попало. А головы на плечах у них совсем уже варят плохо: ума приложить не могут. Всё мимо ушей проходит и прямиком насмарку идёт.

Понял ходячий анекдот, что не врубаются они и предложил общий язык поискать.

Стали они пальцы друг дружке в рот класть. Наде-ялись общий язык там найти. Да языки-то у них, хоть

и длинные и без костей, но слишком уж разные. Только пальцы обслюнявили.

Тогда надумали они прощупать почву у себя под ногами. Может, в почве родной хоть какой-нибудь общий язык найдётся? Там тоже не нашли. Но натолкнулись на одну избитую фразу, которая лежала, в чём мать родила, прямо у обочины и стонала в тряпочку.

Попробовал анекдот с выводами вытащить фразу на свет Божий, да руки-то у них короткие, а смешивать себя с грязью кому же хочется. Решили они глаза на неё закрыть и пошли на попятный. Так бы все и кончилось, травой поросло и лежать бы злополучной фразе в сточной канаве, да тут — откуда ни возьмись — подвернулся случай, который в тот день неподалеку оттягивался: бил баклуши на даче у приятеля.

Рассказали ему выводы о фразе, отложил он баклуши свои в сторону, поплевал на руки-ноги, разбежался и через пень-колоду полетел вниз тормашками к фразе в канаву. В грязь лицом однако не ударился.

И, как положил он глаз на голую фразу, кровь ему, бедному, в голову бросилась и ещё в разные места. С первого взгляда запал на неё.

Начал он тогда, с грехом пополам, дыхание искусственное ей делать. Битый час он над этой фразой мучился не покладая рук, во все тяжкие пустился. Упарился весь. Ничего не помогает. А выводы от греха подальше отошли и наблюдают украдкой, чем дело кончится.

Наконец, будто судорога по фразе пробежала, и ожила она. В руки себя взяла, лежит, буквально каждой буквой переливается. Взглянул случай на неё по-новому и превратилась избитая фраза в красавицу-идею, за ко-

торую и жизнь отдать не жалко. А идея не растерялась — как скрипичный ключ вся изогнулась и воспользовалась подвернувшимся случаем, так что полюбили они друг друга прямо в канаве.

Скоро сказка сказывается, да любовь не скоро делается. Надоело выводам на чужую любовь смотреть, заложили они руки за спины и ушли восвояси путь истинный искать. А анекдот ходячий за ними увязался.

Под утро вывел одержимый своей идеей случай её на чистую воду, отмыл от житейской грязи, одел, во что Бог послал, и поцеловал в губы.

Пошли они места в жизни искать, чтобы добра поскорее нажить. Но добра на Руси трудно было тогда нажить. Все больше зло наживали. Так до сих пор они и ходят.

МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ



ЛИЦО ЗА РЫБЬЕЙ ЧЕШУЁЙ ДОЖДЯ

Что странно — лица своего не узнал
Как будто увидел себя я впервые.
В стекле закачался безглавый овал,
В нём капли дождя, словно слезы живые...
Стихи проплывают над мокрым стеклом.
Слова удлинённые женские лица —
Плывут, словно птицы. Прозрачные птицы.
Под неестественно острым углом.

1988

ЛЕСТНИЦА

Когда я сходил с ума, сползал
По скользкой лестнице, заросшей мхом,
Нищие по сторонам стояли, как статуи
И смотрели с ненавистью, прямо в лицо.
Глаза мои спрятаны в плечи.
Шевелятся губы у статуй.
И четырехгранные слова, как бруски,
Вылезают у них изо ртов.
В небе высоко над моим горбом,
Людоед картавит с трибуны
И материальные ругательства
Как камни, летят мне в затылок.
Внезапно лестница обрывается.
В конце пути хохочущая старуха
Трясется беззвучно на костылях
За ней зеленеет вода.
Мне почти не осталось ступеней...

Одинн...
Одинн...
Раскалённый,
Натянутый
Провод.
Путеводная
Тонн-кая
Нить...
Одинн...
Одинн..
Качался
От каждого
Резкого
Слова...
Одинн...
По лицам,
Со свистом,
Всем телом
Одинн...
Одинн..
Врезаясь
В белые
Липкие
Пятна,
Сжимался,
Вытя-
Гиваясь,
Сжимался

В одинн...
Единн-
Ственный
Звук:
Одинн...
Одинн..
Со звоном
Стекают
Лица.
Одинн...
Одинн...
В этом
Твёрдом
Воздухе
Провод.

1985

ТРОМБ

Кораблик, нагруженный болью,
Плывет по раздувшейся вене,
От пятки к спине поднимаясь
Наверх по течению крови.
Румяные лица матросов
С пустыми раскрытыми ртами
Висят разноцветной гирляндой,
Натянутой криво вдоль борта.
Скрипит мой Летучий Голландец,
Визгливые девки смеются
Внизу в капитанской каюте,
И боцман уснул за штурвалом.
Кораблик швыряет по волнам.
Катается тюк моей боли
От борта до борта по трюму,
В висках отдаваясь, как эхо.
Пульсируют красные весла —
Колючие, злые иголки.
Царапает берег кораблик:
Мой тромб продирается к мозгу.

СРЕДИ ВЕЩЕЙ И ГОЛОСОВ

Я все чаще теперь замечаю,
Стоит только на миг отвернуться,
Как знакомые с детства предметы
С мест сдвигаются и осторожно
Подползают почти что вплотную,
За спиною стоят полукругом,
Словно ждут лишь сигнала к атаке...
Видно кто-то командует ими.
Иногда захватить удастся
Их врасплох, и на долю секунды
Краем глаза я в зеркале вижу,
Как с ленивым презрением над полом
Зазевавшийся стул проплывает,
Или шкаф понимается в воздух
И готовится прыгнуть на плечи...
Я стою не могу шелохнуться.
Мой вещи совсем обнаглели:
Не хотят на места возвращаться,
Их границы почти исчезают,
Все кругом начинает вертеться
И наматываться мне на череп
Торопливо, скользкой веревкой...
Жить становится очень опасно.
Вот вчера, например, целый вечер
Наблюдал за ножом перочинным,
Он прикинулся мёртвым вначале,
Но меня так легко не обманешь,

Через пару часов я заметил:
Свет на лезвии начал дымиться,
Нож забился, как будто в падучей,
И пополз на меня потихоньку...
Хорошо, я тогда убежал.
А теперь голоса появились,
Они были, конечно, и раньше,
Но вели себя, вобщем-то тихо,
Но сейчас, как крикливые бабы,
Без умолку визжат и плюются,
Кулаками стучат истерично
Изнутри в черепную коробку...
Я себя перестал уже слышать.
Неуклюжим магнитом в щетине
Голосов и предметов враждебных
Я стою, растопыривши руки,
И пытаюсь понять их движение.
Ключья света по комнате пляшут,
В голове моей шум нарастает,
Барабанную рвет перепонку.
Все быстрее вращаются вещи...
Но об этом никто не узнает.

1988

МАТРЁШКА

Сорвусь со стихов на слова,
В повисшие деепричастья.
Матрешкой, словами звенящей,
В моей голове голова
Чужая. Трясутся слова,
Как камешки. Сквозь бормотанье
Язык прилипает к гортани,
И гулко стучит голова.

1985

Я помню, что ехал с работы,
Один, вдоль притихшего леса.
Машина плыла по асфальту,
Наматывая на колёса
Зеркальную ленту дороги...
И я засыпал постепенно.
Но вдруг словно дернуло током
От боли, сверкнувшей в затылке:
Лицо моей мамы умершей
Летело в соседней машине,
Струясь электрическим светом...
И было чудовищно тихо.
Прозрачные серые ветви
В зрачках её плавно скользили.
Губами к стеклу прижимаясь,
Она повторяла всё время
Какую-то длинную фразу...
И била в стекло кулаками.
Чужой жёлтолицый мужчина
С массивной седой головою
Сидел рядом с ней неподвижно,
Сжимал колесо рулевое
Своими большими руками...
Глаза его были закрыты.
Всё заняло две-три секунды.
Когда, наконец, я очнулся,
Их было почти-что не видно
В струящихся мокрых деревьях...

Лишь в зеркале белые фары
Маячили на горизонте.

Я газ выжимал до предела
И видел, как свет исчезает.
Но все это было напрасно:
Я знал, у меня за спиною
Несётся, огней не включая,
Машина её сквозь деревья...

1988

Заснул, весь привычно согнувшись,
Как будто бегун перед стартом.
Глаза твои сразу исчезли.
И вспыхнул в мозгу телевизор:
В холодном, зелёном экране
Скользя, извиваются цифры,
Сжимаются в белую точку,
И в небо туннель образуют.
Иду, натываясь на стены.
Слепые, летучие мыши
Мохнатыми крыльями бьются,
В моей голове застревают.
И цепь саблезубых монахов —
Пунктирную осью уходит
В лицо совершенного Будды.
Всё это со мной уже было.
Сверкающей каменной глыбой
Лежит на песке лицо Будды.
Меня кто-то поднял за шею.
Как пешку вперёдпододвинул,
И я головой прикоснулся
К губам его полураскрытым,
Пытаясь хоть что-то услышать

Вокруг дрожат мокрые стены,
И катится пот с меня градом.
Под речитативы монахов
Фигуркой из мягкого воска

Все тело мое оплывает,
Становится белой точкой,
Как след в середине экрана...
И гаснет в мозгу телевизор.

1988

ПОПЫТКА РОЖДЕНИЯ

Когда он ко мне повернулся,
И мы оказались вплотную,
Я стал замечать постепенно
Свечение третьего глаза:
Из точки, где сходятся брови,
Смотрел на меня с удивленьем
Сияющий глаз, неподвижный.
Мне спорить уже не хотелось.
Мы молча сидели на кухне
И лбами почти что касались
Друг друга, как два коромысла
Весов, опустившихся с неба.
Лицо мое вверх поднималось.
Я взвешен и найден был легким.
Внезапно он вскрикнул, рукою
Слегка оперевшись на воздух.
И я сквозь рубашку увидел:
Дрожащие синие нити
По телу его заструились
С сухим электрическим треском,
Как тысяча маленьких молний.
И кухня на миг осветилась.

Беспомощно мне улыбаясь,
Он что-то сказать попытался,
И вспыхнуло снова сиянье
Огромного третьего глаза
Из точки, где сходятся брови.

Но я его больше не слышал:
Лицо моё плавало сверху,
Уже отделившись от тела.
Я плыл, замирая от счастья,
Сквозь лица недавно умерших,
Сквозь лица друзей и знакомых,
Сквозь вещи, забытые с детства,
Я плыл коридором спасенья
В сиянии третьего глаза,
И память о жизни и людях
С меня шелухой осыпалась.
И было пронзительно ясно:
Я жил свою жизнь как зародыш
Внутри материнской утробы,
Барахтался, рос, развивался,
Готовился к этой минуте,
Великой минуте рожденья.
Но я не готов оказался,
И надо назад возвращаться.

.....
Когда, наконец, я очнулся
Его уже не было в кухне,
Лишь в воздухе жёлтая точка
Дрожала остатком сияния.
Я долго смотрел в эту точку,
И всё мое грузное тело
Пыталось осмыслить частицу
Мне вдруг приоткрывшейся правды.

1988

ПОРТРЕТ СТАРИКА В ОКОННОЙ РАМЕ

Антенна, как крест из бриллиантов,
Великой предсмертной наградой
Застыла в квадрате окошка
Над старым лицом человека
В дешёвом двубортном костюме.
В лице шевелятся морщины.
По дугам, надбровным, застывшим,
Сползают, как будто в воронку,
Со лба, в переносицу, книзу
Сползают живые морщины,
Чтоб заново выйти наружу
У крыльев тяжёлого носа.
А красный, горячий обрубок,
Движением их управляя,
Качается между губами.
Горит неестественным светом
Набухшая капелька пота.
В воронке, где сходятся брови,
И в пухлой бесформенной шее
Кадык разгоняет морщины,
Ползущие медленно к горлу.
Стекло постепенно темнеет.
Лишь в зеркале рамы оконной
Антенна, как крест из бриллиантов,
Дрожит над моей головою.

ТРАПЕЗА

Гирляндой овалы плоские лица
висят над столом, прижимаясь к стене.
Над лицами дым сигаретный слоится.
Усталый хозяин сидит в стороне.

Нанизаны на серебристые вилки
кровавое мясо, раскрытые рты.
Полощется свет в недопитых бутылках,
трясутся ножи на тарелках пустых.

Испуганный мальчик стоит у рояля
с зажжённой свечой, прижатой к груди.
В мерцающем воздухе к лицам овальным
прилипли куски ритуальной еды.

Набухшие губы жуют беззаботно,
моргают невинно пустые глаза.
«Не кушайте мясо убитых животных.
Убоина яд!» — вдруг ребёнок сказал.

Лишь только он кончил, как полночь пробило.
В окне прокричал деревянный петух.
Вдруг слышно им стало, как вещи молились.
И свет на груди у ребёнка потух.

А тот, кто был должен наутро предать их,
из комнаты вышел.

1988

ПОЕДИНОК

Лицо сквозь бумагу — нарывом
Пространства, нашедшего форму,
Сгущается неторопливо
Ожившею массою чёрной.
Ползет треугольным утесом
Породистый нос неуклонно
Сквозь толщу лица. Вслед за носом
Ползет подбородок огромный.
И пряди волос проступают
Копною тяжелой и липкой,
Как будто сквозь череп стекают
Извилины мозга в улыбку.
Во рту перламутрово-синем
С шипением режутся зубы,
Повисли на гибких морщинах
Дрожащие, толстые губы.
Качаются, словно качели,
В бумагу толкаются глухо —
Зубами наполненный эллипс
Натянут от уха до уха.
Смеётся злорадно и грубо,
Заходится старческим кашлем.
И лязгают белые зубы,
Куснуть норовят карандаш мой.
Стою, укротитель со шпагой,
Захлопнулась клетка на сцене.
Взбесившийся зверь сквозь бумагу
Прорвался и сбросил ошейник.

1991

Вздыхающей розовой грудой
Он в костном футляре растёт.
И кровь, растекаясь повсюду,
Ему осторожно несёт
Сквозь красные ветви сосудов
Из сердца живой кислород.
Как трудно поверить всерьёз,
Что сам он себя изучает,
И тысячью крохотных звёзд
В нём нервные клетки мерцают,
Что в этот беспомощный мозг
Я весь-целиком-умещаюсь!

Май, 1991

СОНЕТ

И сразу же оглох. Кругом
Какой-то жёлтый грязный свет.
Обломки мебели. Паркет,
Поросший плесенью и мхом.
С крюка свисает мой портрет.
Я весь седой уже на нем.
Лицо закрыто кулаком,
На пальцах перстни, как кастет.
Все замерло. Лишь пыльный пот
Стекает в душной тишине
Ручьями по моей спине.
А я стою, разинув рот,
Как деревенский идиот.
И бьётся ласточка в окне..

Июнь, 1991

В ВАГОНЕ ПОЕЗДА

В переносицу,
словно в воронку,
струится
студенистою массою
между бровями,
заливая
набухшие веки,
глазницы,
чёрно-жёлтую кожу,
мешки под глазами,
обтекая
овальные ноздри,
твердея
в полукружии рта
красным нёбом,
зубами,
подбородком стекая
в рубаху по шее,
отражение мое
поднялось
над холмами.

21 нояб., 1991

Высоко на мосту
Меж душою твоею и телом
Вьётся красный костёр
Среди белого дня.
Это часть от тебя
Красной точкой в мозгу загорелась
И всего изнутри
Осветила меня.
На мосту у костра
Бродят нищие мысли без дела
И всё ищут лицо твоё
В клочьях огня.

Февр., 1992

Ампутировал прошлое и в инвалидной коляске,
громыхая, несусь в туче пыли средь белых камней.
Стало нечем дышать, напрочь душу отбило от тряски.
Неба синий наждак обдирает всю кожу на мне.
В раскалённые диски сливаются острые спицы,
словно пену, взбивая из воздуха солнечный свет.
Обгоняя мой хрип, вниз под гору летит колесница.
Я прикручен ремнями, и пыль замечает мой след.

1992

МАЯТНИК ЛИЦА МОЕГО В ОКОННОМ СТЕКЛЕ.

Я увижу:
 Узор
 Ледяной
 На стекле
 Набухает
 Рассеянным
 Розовым
Светом.
 И стучится,
 Как птица,
 В оконную
 Клеть,
 Истекая
 Хрипеньем,
 Простуженный
Ветер
В паутине
 Из теней
 Косматых
 Качается
 Жёлтым камнем

Чужое
Лицо.
 За окном:
 Припорошенный
 Снегом

Уродливый
 Маятник,
 Отмеряющий
 Мною же
 Время
 Моё.
 Посреди
 Изогнувшихся,
 Мёртвых
 Домов,
 Среди пальм,
 Застеклённых
 Прозрачным
 Свинцом,
 До костей
 Промороженных
 Белых
 Стихов,
 Словно маятник
 Жёлтый,
 Чужое
 Лицо...
 Вдоль по
 Длинной
 Заснеженной
 Улице...

12-15 мая, 92

СИНЕЕ

Подмешана синь в окоём.
 Вода океана, свист ветра,
 Осеннее небо, и в нём
 Дрожащие грани предметов
 Замазано всё синим цветом —
 Мы в синем пространстве живём.
 И синь прорастает в живом,
 Как щупальцы раковых клеток.
 Болезненный цвет середины
 В телах наших *синестью* брызнет.
 Я знаю, что весь буду синим
 В последний момент своей жизни.

25 авг., 1992

Чужая жизнь.
Бессонница. Дожди.
По мутным стеклам льются суеверья.
И ветер в трубах
Траурно гудит
Как реквием Сальарта-Моциери.
Живу взаимы
Среди дождей и книг,
В глаза мои втекают год за годом
Потоки глаз
И оседают в них,
Переплетаясь в музыку ухода.

24 июля, 1993

Это тело чужое, в котором
я хожу уже больше полвека,
на глазах моих деревенеет.
Остановишься — и отовсюду,
разветвляясь сквозь новую почву,
прорастают бесшумно быстро
волосатые белые корни.
И когда, извиваясь от боли,
вырываешь себя и уходишь
волоча за спиною отростки,
паутину разорванных судеб,
то подошвами чувствуешь: кто-то,
очень сильный и злой, под землёю
в темноте продирается следом,
поджидает, пока ты устанешь,
остановишься, выпустишь корни.
Чтоб вцепиться в них мёртвою хваткой
и к себе затянуть...

Янв., 1994

АВТОПОРТРЕТ СО СЛОВАМИ В ГЛОТКЕ

В лице, запрокинутом в небо,
Ноздрей воронёные дыры
Зияют, как входы туннеля,
Ведущего внутрь гортани.
И ходит кадык равномерно,
Как поршень у локомотива.
Со скрежетом тащит сквозь горло
Состав из разорванных звуков.
Куда-то в надбровные дуги,
До края налитые болью,
Ползет, обдирая мне глотку,
Сквозь тьму вереница вагонов.
И жёлтая лампочка светит
В груди у меня вполнакала.

КАЗЁННЫЙ КАЛЛИГРАФ

В заваленной рухлядью келье
Блестит по углам паутина.
Каллиграф с недоразвитым сердцем
И глазами из жидкого олова
С наслаждением буквы выводит
На давно отсыревшей бумаге.
Пробором разрезанный череп
Запрятан в костлявые плечи,
Прозрачные пальцы вцепились
В огрызок пера мертвой хваткой.
Язык слегка высунут набок,
И воздух горит над затылком.
Удушливою благодатью
Пропитана грязная келья.
Каллиграф с недоразвитым сердцем
Заполнил собою пространство.

Ладонью, ощупью —
иное знание:
ты сразу чувствуешь,
что вещи прочные
со всеми гранями
их формы, в сущности,
для вящей точности
даны в касаниях.

14 мая, 1994

Божий зверь,
Лесоруб
Красногубый-
Низкозад
Крутогруд,
Иглокож —
В дом войдёт,
И ощеривши
Зубы
Распахнёт
На груди
Волчью шубу,
Вынет нож
Не спеша,
И поймёшь
По глазам
Налитым
Душегуба
Пропадёшь,
Ни за грош
Пропадёшь...

10 марта, 94

Стволы в тумане. Кладбище чудес.
Одни стволы. Без листьев, без ветвей,
Как волосы на коже крупным планом.
Фигурка щуплая в щетине из лучей
бредёт наощупь через голый лес,
позвякивая мелочью в карманах.

Закинут в небо пересохший рот.
На кончик носа съехали очки.
Стекает по груди холодный пот,
разрезав тело на две половинки.
И жёлтый свет с шипением в зрачки
откладывает белые личинки.
В парном тумане запахи болот.
Диск солнца исчезает за бугром.
С улыбкою наивною и глупой,
сквозь воздух тычась криками, бредёт
в лесу стволов, залитых молоком,
домой душа с прижавшимся к ней трупом.

Нояб., 1994

Прокручивая сны свои назад,
я застаю в кадре, где луна
сквозь дырку в туче освещает сад.
И женщина внизу у края сна,
качаясь в позе лотоса сидит.
Пять пальцев одинаковой длины,
как белый веер на ее груди,
шевелиются в сиянии луны.
Из раковин ушных ручьи текут
живого пота, разъедая кожу.
Под шеей слившись в волокнистый жгут,
уходят в треугольное межножье...
Подрагивают брови на сосках,
напудренных толченными костями.
Глубокий шрам пробора в волосах
пульсирует неровными толчками.
Кусок луны над головой её
обернут в тучу, словно вчёрный саван.
Она на древнем языке поет,
поднявши к небу оба глаза правых.
И не уйти... как будто у меня
все тело рассыпается на части.
Я знаю: женщина у края сна
немыслимою обладает властью.

18-19 янв., 1995

В полдень карлик слепой с воспалённым лицом
появился из жерла подъезда на свет,
что-то выкрикнул в небо разорванным ртом,
нахлобучил угрюмо на череп берет,
и раскинул ворсистые руки крестом.
И глаза проступили в ладонях... потом
в них набухли горючие капли слезинок.
От стеклянных ногтей замелькали кругом
десять зайчиков в воздухе роем осиным:
карлик шел сквозь свечение ко мне напрямиком.
Опустившись на корточки передо мной,
он ногтями в асфальте стал мелко скрести.
Соскоблил свою липкую тень с мостовой,
с отвращеньем забросил подальше в кусты,
разбежался... и в землю нырнул с головой.

22 окт., 1994

ДВА АВТОСОНЕТА.

1

Спрессовано слоистой амальгамой
лицо в блестящем шлеме из волос.
Скопились сны в мешочках под глазами
под тонкой пленкой пересохших слез.
Ползет между стоваттными зрачками,
как ледокол из зазеркалья, нос
по океану отблесков упрямо
шипя ноздрями круглыми взасос.
Из горла лезут хриплые слова.
Бескровных губ тугая тетива
натянута усмешкою кривою.
Стою в себя уставясь, не дыша.
И мёртвую петлю над головою
выделяет в воздухе душа...

2

Зияет зажатая между губами дыра.
Там веретено сигареты из синего дыма
волокна тугие сплетают всю ночь до утра,
и ноздри, как жабры, глотают пространство над ними.
И смешаны губы, надбровные крылья, гора
горбатого носа, глазницы, морщин, пантомима...
Но вся эта смесь не доводит лицо до добра —

похоже и впрямь, отражения сраму не имут.
Всмотрись: здесь ничтожная часть твоего существа.
И даже ее не вместить. Попробуй с сперва
запомнить хотя бы, как в зеркале жёлтом с повинной
стоит стих-мой-я о четырнадцати головах.
Закончена очная ставка... пора, очевидно,
сонетным замком запереть отраженья в слова.

Янв., 1997

Я очутился в центре колеса.
В нём обод-горизонт натянут туго,
А вместо спиц — живые голоса.
Там, где они сливаются друг с другом,
я и верчусь, но не сдвигаюсь с места.
И чем все это кончится — известно.

27 июня, 1997

ТЕМА

Сначала бормотать, вживаясь в образ...
Ну что-нибудь о воспалении духа,
о человеке в зеркале с недоброй
ухмылкой от уха и до уха.
Потом добавить несколько деталей,
но подчеркнуть при этом их условность:
лица — овал, нос — по диагонали,
две радуги на месте дуг надбровных.
Теперь катарсис третьего катрена.
С бесшумным взрывом в зеркале напротив
лицо развоплощается. На сцене
шевелится комочек позолоты:
стриптиз исповедальный, танец гномов —
души с незарубцованною плотью.
Есть в нём разоблачение приема
срывание метафорных лохмотьев.
Дать этот танец как основу текста —
сплошную копошащуюся массу,
где налезает друг на друга жесты
на красной сцене, высеченной в мясе.
(Пропустим здесь четыре смутных строчки
их смысл установить уж нет надежды —
ведь мой король одет и под одеждой.
Я просто вместо них поставлю точки).

.....

...и темой одиночества двойного,
вступающею мощно к эпилогу
как контрапункт к иронии дешевой,
закончить,
отстраняясь понемногу.

9-11 Июня, 97

ЧЕТВЕРИЦА

Ты выходишь ко мне из себя...
Над глазами ещё пара глаз
проступила из узкого лба:
ты выходишь со мною на связь.
Четверица висящих зрачков
образует тяжелый квадрат,
и нацелен в меня из углов
повторенный четырежды взгляд...
Это два отраженья слились
в моей памяти — их не разъять.
И в одном из них, сдвинутом вниз,
плачет тот, кем пытался я стать.

Февр., 1997

И душно в душе моей как в душевой,
где смотрят из кафеля тысячи глаз —
там плотная *Самость* водою живой
брезгливо смывает житейскую грязь.
Потом вытирается. Мятый комок
лица, полотенца и рук освещен
сиянием пара. Урчанье. Зевок.
И вот уже *Самость* влезает в мой сон.

февр., 1997

Мозг заходится спазмом молчания,
Засыхает коростою слов.
На извилистой карте желаний
Стерлись белые пятна стихов.
А в подкорке, в подвале цементном,
Замурована клинопись звёзд
Замуровано заживо сердце
В полированной клетке из слёз.

И текст стал похож на черствеющий бублик,
где дырка обложена тестом словесным
негодных в духовную пищу, округлых
слепившихся фраз с пустотой посредине
на месте страстей, и читать бесполезно.
А эти попытки сказать умолчаньем,
изгибами, формою фраз, букволиний
наверное признак известной болезни
с ментальным исходом в конце рифмованья,
где всё обрывается на полусло...

...но все меньше и меньше
людей различаю.
Иногда лишь пространство
вдруг вспучится новым
говорящим лицом.
Я впадал отвечаю.
Повторяю готовые
фразы, и снова
собеседник мой чувствует:
что-то неладно.
Через пару минут
наступает молчанье.
И лицо его медленно
тонет в тумане,
как в плохом кинофильме
последние кадры.
Я не знаю, когда
это было со мною,
год назад или завтра...
Да и мне неважно.
Все затянуто скользкою
пленкой сплошною.
Только звук остается
щемящий, протяжный.

25 авг., 1995

...Городок на окраине мира. Больница.
Отражение мое за оконным стеклом.
В нём бесшумно сквозь волосы время струится,
анодируя волосы мне серебром.
Весь уставлен лекарствами низенький столик.
Белизна расплывается по простыням.
Белый цвет хорошо помогает от боли.
Это тело моё забывает меня.

26 сент., 1995

СКАЗКА О КАЩЕЕ БЕССМЕРТНОМ

На самом верху
неуклюжего тела
лежит в костяном
драгоценном футляре
изнеженный мозг мой
под бежево-белой
мозолистой коркой
больших полушарий.

Внутри его мир
разноцветных узоров,
плывущих ландшафтов,
изогнутых зданий
и дышащих гор,
на вершинах которых
фигуры ушедших
видны сквозь сиянье.

А в центре Вселенной
всех этих видений,
набухших, играющих
жизненной силой,
комочком дрожащим
в нейронном сплетенье
мое беззащитное
«я» притаилось.

31 янв., 1996

ЧЕРЕЗ ГОД

Памяти И.Б

Размытых лиц живые ручейки
стекают в плечи сквозь воронки шей.
Мне стало трудно различать людей —
как будто запотевшие очки
к глазницам прилипают все плотней.
Вернусь в себя. Что там ни говори,
снаружи мир чужой. Глаза закрою,
и к горлу вновь всплывут со дна души
молитвы самодельные мои...
А как ещё мне говорить с тобою?
Ведь все стихи — одно письмо в конверте
без адреса... и некому читать...
Я часто думаю теперь, что после смерти
мы с ним, должны бы встретиться опять.

27 янв., 1997

ЖЕЛЕЗНЫЕ СТИХИ

На чёрных заводах
из домен пылающих хлещут
живые ручьи
добела раскаленного гноя.
За деньги железные
варят железо стальное
в огне сталевары
огромные в масках зловещих.
И сталь застывает
в холодные мёртвые вещи:
ножи, автоматы,
винтовки и всё остальное.
Железными бритвами
небо над нами разрезав,
проносятся в ночь
самолетов железные стаи.
Железные рельсы,
как обручи, землю сжимают.
Железные змеи
ползут по дорогам железным.
На нас отовсюду
предметы железные лезут.
Железный металл
в голосах и в крови проступает.
Железных людей —
так легко нас теперь намагнитить.

26 Мая, 1996

В тропическом лесу
духовных инструментов
на ветвях шелестят
дизеи и бемоли.
Лианами сплелись
ключей скрипичных ленты.
В пустых стволах гудит
звук, рвущийся на волю.
И в самой глубине
под чёрною листвою,
где небо заросло
от края и до края,
летает дирижер
огромной стрекозою
и крыльями стволы
на ноты рассекает.

12 февр., 97

Я вышел из себя — и не могу
вернуться. А снаружи неприятно.
Чужие лица. Каждый смотрит в оба.
(И громко мысль кудахтает в мозгу,
что нет меня. Но есть — вот эти пятна.
(Замечу в скобках: слишком много скобок —
попыток отделиться из-нутри,
признать, что проиграл, что не судьба,
что мне осталось только говорить...
что я лишь эхо самого себя.))

23 окт., 1997

Гудят стволы — обугленные трубы
завода «Лес», закопанного в землю.
И в сером небе намалеван грубо
тяжелый дым над трубами, как кроны.
Вовсю кипит подземная работа.
В отделе кадров за столом огромным
сидит Начальник, обливаясь потом.
Топор над ним сияет как икона
Сквозь сапоги измазанные глиной,
колоды ног разбухших прорастают
ветвями красных пальцев в пол бетонный...
Глаза закрыв и голову откинув
он дело мое медленно листает.
А над землею, в белизне творожной
гудят стволы, мелькают хлопья снега...
Счастливый сторож спит, и осторожно
метель с его лица снимает слепок.

5-16 дек., 1997

Выпьешь водки во сне — а наутро изжога.
Нутропламенный весь, неподвижно лежишь,
к сожаленью в себя, приходя понемногу.
И шевелится в горле горячая мышь.

Видно, даром теперь ничего не проходит.
Осторожно пальпируя горло рукой,
ты бормочешь: «*Ментальный* исход на подходе...
и не двигаться... только тепло и покой...»

Наполняется комната пылью и блеском,
и в тепло превращается слово «тепло» —
это солнечный луч, расщепив занавеску,
воскресательным знаком пометил твой лоб.

Сна осколок в мозгу догорел незаметно.
Значит надо вставать, раз отсрочка дана,
уходить в повторенье вчерашнего дня —
жить, как будто **с тобой** происходит всё это.

1-3 Марта, 1999

Прожекторов прозрачные колонны
и купол небосвода темно-синий
над свалкою, где в хор металлолома
молитвою нестройною навзрыд
вплетается свист ветра воспалённый.
Сквозь кладбище машин, посередине
Земли, заросшей сталью, невесомый
стук поезда под куполом летит.
В агонии мелодии вагонной,
плывущей над плящущей равниной,
сливаются оконные проёмы,
латунная латиница звенит,

и лязгают изогнутые трубы,
кустарник проржавевшего металла...
Между колонн-прожекторов в тумане
всё мёртвое. И никуда не деться.
Лишь поезда вихляющий обрубок,
роняя стук в обугленные шпалы
как семена живые, к океану
несётся по полям Массачузетса.

26 Нояб., 2003

Ты увидел, как ты:

утром в муторной, мутной,
дрожащей утробе метро,
не проснувшись ещё,
выходя на перрон и хитро

усмехаясь, поставил себя
посреди пустоты
в самом центре пыхтящей толпы.
Ты увидел, как ты

поклонился по пояс
и шмякнулся смачно плашмя.
Но вскочил и *разстроился* —
вдруг обернулся тремя.

Трое-ты танцевал
в самом центре толпы животом...
танцевал всем нутром, сотрясаясь...
утроенным ртом

верещал, хохоча...
сгоряча хлопал всех по плечу...
лопоча чепуху,
хлопотал как-то уж чересчур.

Бес, запрыгнув в три тела твои,
суетился вокруг...
сотрясался от смеха...
вращая пропеллером рук,

над толпой поднимался,
себя поднимая на смех...
собирая опять трёх в один,
незаметно для всех.

24 Нояб., 2006

Лист холодного воздуха, словно стекло, —
прикоснёшься ногтём
и останется шрам.
На обратной его стороне, где тепло
прилипает к листу
и расплющенный хлам —
амальгама из памяти тела и слов —
превращает стекло
в плоскость зеркала, там
остановленный свет собирает улов
в сеть сплетённых лучей.
И со дна, как мишень,
отражение всплывает с лицом набекрень.

20-21 Янв., 2009

Пропал мой голос... Отоларингит...
Закупорен... Немой... Ничей... Не мой...
Никто не слышит... Хотя ты плачь навзрыд...
Хоть жесты громозди наперебой...
Никто не слышит их галдёж немой...

И раньше-то не слышали... А тут
любое слово заполняет рот
шипением... Наждачных буквиц жгут
царапает разбухший нёбосвод...
Рывками продирается и рвёт

голосовые связки изнутри...
Безобразны слова моих обид
и безобразны... что ни говори...
Разорванными связками хрипит,
сжимая горло, Отоларингит...

13 сент., 2009

Сдавать самый главный экзамен экстерном
придётся. За тысячи дней непрожитых,
когда, словно рыба, молчал я. Метался,
хватая разинутым ртом, и, наверно,
крючок заглотил незаметно с наживкой.
Крючок из проклятых вопросов впивался.
И душу мою подсекли уже. Леска
натянута. Дёргают, водят кругами.
Отпустят и дёргают. Чтоб не сорвался
и дал себя вытащить. Тихо, без всплеска
единого вытащить в свет. На экзамен.

11-12 нояб., 2009

Поздно ночью вошёл
в незнакомый посёлок.
Вдоль морщинистой речки
тянулись дома.
Тёплый ветер метался,
по крышам гремя.
И качался, как маятник,
лунный осколок

зацепившись за тучу.
В посёлке творилось
что-то странное очень.
Из стен сотни глаз,
непрерывно за мною,
сидели сейчас,
набухая свеченьем.
Блестящая гнилость

их сведённых зрачков
освещала дорогу.
Моя тень то понуро
плелась позади,
то вперёд забежала
и, встав на пути,
суетливо кривлялась,
как будто тревога

тоже ей овладела.
Качался от ветра,
весь обёрнутый в чёрный,
искрящийся шёлк,
лунный луч. Но посёлок,
которым я шёл,
был уже за границею
этого света.

8-9 Мая, 2010

Наконец рассвело.
Пузыри моих снов
проплывали опять
перед тем, как исчезнуть.
Облепляли лицо
всплески мокрых шлепков,
расцветали следами
от сонной болезни.

Отовсюду шёл свет,
заполнял окоём.
И стихи — те, которыми
было кочевье
оживающих листьев
на кронах деревьев, —
обведённые солнцем
стихи за окном

можно было прочесть.
Я разглаживал взглядом,
перелистывал бережно
каждый листок.
Мой безжизненный голос
звучал где-то рядом.
Повторяя себя,
отдавался в висок

ускользающим ритмом
деревьев поющих.
Был зелёным по синему
выверен точно
контур веток, прогалин,
торчащих листочков —
весь узорчатый ритм
истончавшейся гущи,

где за краем стиха
начинается небо.

В темном центре взбухающей клетки грудной,
по натянутым нервам блуждает душа.
Шаг пройдет остановится и, не дыша,
неподвижно стоит, наблюдает за мной
изнутри. Прилипает к изгибам пути
темнота. В ней воздушные замки, ещё
не успев очертанья свои обрести,
зарастают живым ядовитым плющом,
превращаясь в холмы. Нитью жёлтых огней
проступают следы предстоящих потерь —
из моих ещё здесь половина теперь,
остальные уже на другой стороне.

26-27 Авг, 2013

Слов не понять, но ты настороже.
Скорей слепые оттиски того,
что высветилось у тебя в душе.
Наваленное в кучу. Хлам, тряпье.
Не вытащить и не связать уже.

Их вслух произнести не вмоготу.
Слипаются в мычанье, в хриплый стон.
Осталось лишь, края зажав во рту,
свернуть свой голос тщательно в рулон,
потом чехол надеть и в темноту

подальше отложить. Там словно мышь
хвост буквицы вертявой промелькнёт.
И кажется: чем громче ты мычишь,
тем меньше слышно. Прорастает тишь.
Её побеги всюду, и вот-вот

задушат голос, бьющийся внутри...

2 июля, 2015

И не то чтобы так уже выдохся. Нет.
Но застыл будто вкопанный. Вдруг снизошло,
что бежал я на месте. Бежал много лет,
причиняя всё время душе своей зло.
А теперь отыскал дверцу тайную в ней,
о которой давно позабыл. Я рванул
со всех сил. Груда белых, иссохших костей
повалилась под ноги. И слышен был гул.

Это время гудело, трещало по швам,
воскрешая иссохшие кости в пыли.
Вот они расползаются по сторонам,
превращаясь в скелеты. Вставая с земли,
обрастают сочащимся мясом. Идут,
унося в себе свет. Я дожил до седин,
оставаясь не тем кто я есть. Самосуд
с темнотой и словами, один на один.

9 Сент. , 2018

тыя



Я увидишь себя на мгновение
на поющей постели в отеле,
просыпаясь вдвоем в нашем теле
двуединственным переплетением.
Это *Ты* проснулась и *ожил*.
И, глаза ещё не открывая,
уже чувствуешь, как прорастает
синий лес наших нервов под кожей.
Окт., 1992

В горизонтальный праздник на двоих
Ятыєю-Мнобою, ставшим нами,
грамматикою, жизнями, телами
сплетаясь, прорастая словно стих,
впустив-войдем друг в друга постепенно —
в горизонтальный праздник *мнетебенам*.

31 окт., 92

Мы сидели б в кафе, в незнакомой стране.
Зимой. И в камине трещали б дрова.
И я, прижимаясь спиною к стене,
Ронял осторожно бы в воздух слова,
Как если бы пальцем касался тебя
Меж ног, в перламутровой белизне.
Слова набухали бы, как семена...

8 дек., 1993

Монету в щель,
И голос возникает,
Змеею вьется
В трубке телефонной,
Мне жало в ухо
Нежно выпуская,
Крадется к мозгу
Голосок влюблённый.

Все тело мое — колыбель.
Младенцем беспомощным в ней
Качается мысль о тебе.
И чмокает тихо во сне.

20 дек., 1993

Обманный ящик истекал звучаньем.
Глотая суп из доремифасоли,
мы опускались в вязкое молчанье.
Гибрид мичуринский из будущего с прошлым —
неразговор наш — разрастался болью.
Стеклянный плод налился светом рыжим
в ненужном зеркале и высветил дотошно
два тела, парус простыни и столик...
Кровать плыла, как лодка, над Парижем.

Июнь, 1994

Проснусь в слезах на сизой простыне,
пытаясь вспомнить: кто я, для чего
валяюсь здесь, в бревенчатой стране
с осколком сна, застрявшим в голове,
так далеко от дома своего.
Потом на резкость слезы наведу,
овал лица увижу в синеве.
И словно леской вытащу за взгляд
на Божий свет. И потяну к себе,
на дно зрачков ныряя наугад.

7 сент., 1996

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ

Слова мои пригнаны,
как кирпичи,
скреплённые намертво
собственным весом.
Уже отделившись от тела, кричит
чужой человек
за стеною отвесной.
Но даже и в звуке
таится опасность:
завьется верёвочкой
голос на шее,
с душой, перекошенной набок, напрасно
начнешь вспоминать —
будет только труднее.
И что бы тебе
ни твердили, ты знаешь,
как боль прорастает
из боли мгновенно:
ведь в ней, истекающей криком, взбухает
сейчас чья-то жизнь совершенно чужая.
Отрежь этот голос. И строй свою стену.

7 янв., 1997

Книгу раскроешь — и буквы ссыпаются к сгибу,
как тараканы от яркого света бегут.
В белых страницах два тела сплетаются в жгут.
Если всмотреться — становятся волосы дыбом.
Проще захлопнуть и выкинуть книгу к чертям...
Видно истёрлось до дыр то, чем чувствую я.

8 янв., 1997

КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ

Весь день ушел на дребедень.
Стоим, обнявшись, у крыльца,
и даже шевельнуться лень.
Ты вытираешь взгляд с лица.

Я огражден в твоих зрачках
оградой чёрной из ресниц.
На вдетых в солнце проводах
сияют ноты певчих птиц.

И, как скрипичный ржавый ключ,
над домом изогнулся дым,
ввинтился в небо между туч
названьем звуков — нам двоим.

Прочешь мелодию, потом
с листа сыграть её в груди,
взять за руку тебя и в дом
под щебетанье птиц войти.

28 янв., 1997

УРОК АРИФМЕТИКИ

Дробью правильной — “ты”, поделенной на “нас”, —
единицей почти, но какой-то ущербной,
обозначены мы друг для друга неверно
в уравнении, неразрешимом сейчас.

За тебя проверяю ответы свои
и пытаюсь на “нас” ставить крестиком “икс”,
но всегда попадаю не в глаз и не в бровь,
а куда-то пониже, где нет нас двоих,
неизвестное “нас”, заменяя на секс.
И решения нет. Вместо целого дробь.

7 марта, 1998

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД.

Весь длинный текст
твоих прикосновений
по памяти
на русский перевёл.
Набралось
на одно стихотворенье.
Но и его
я должен спрятать в стол.
В нём слишком много нас.
По крайней мере,
в нём слишком много,
ставшего тобой.
Чем больше страсти,
тем трудней поверить:
за тело
отвечаю головой.

Слова прожиты
полностью, дотла.
Мне кажется,
вокруг дымится шерсть,
душой палёной
тянет из стола:
конец стиха,
как маленькая смерть.

10 Окт., 1999

На плечо положив подбородок, чтоб чётче
твоя дрожь у меня отдавалась в висках,
выхожу на любовную связь, и в руках
просыпается память. Касанья наощупь
набираю — проверенный код от замка
на двери в моё счастье. А рядом полощет
море белой спины красных два островка
из родимейших пятен. Глаза закрываю.
И в тебе, словно в лодке живой, уплываю.

5 июня, 2000

Прикоснулся рукою — и робко прижалась
сердца линия в тёплой ладони твоей
к моей линии жизни. Прильнула плотней,
стала влажной, горячею, затрепетала,
нежно охая, ахая, ойкая — звуки
распустились в касаньях. Их лепет живой
заплетаётся, сделать нельзя ничего.
Это нить жизни-сердца связала нам руки.

18 апр., 2003

Сквозь чёрное облако месяц струится
в пустующий дом (меня нет там давно).
Воздушные шарики слов вереницей
плывут над двуспальной кроватью в окно.

И шопот мой, вьющийся между словами,
рассохшийся шопот, в который вошло
дыханье твоё, неживыми цветами
свисает к подушке, хранящей тепло.

23 Июня, 2004

Прилепившись, сливались изгибами. Сердце стучало.
Наше общее сердце, твоё и моё. Гулкий стук
отдавался в двух клетках грудных, и ползло одеяло
в темноту под кроватью. И всё исчезало вокруг...

Если двое когда-нибудь были один, — это мы.
Это мы, когда всё исчезало вокруг, и края
одеяла — я знал — становились границами тьмы.
Знал, что, если один был когда-то двумя, — это я.

19 Янв., 2006

И с любовью — глазами, губбами, удвоенным б —
содрогаясь и, молча бубня, о тебе, о себе,

но не видя вокруг ничего, никого кроме нас,
кроме наших столкнувшихся взглядов живых, кроме глаз,

словно смотрим в замочную скважину с разных сторон,
и зрачок, отражённый в зрачке, изнутри освещён,

мы с тобою друг в друге повёрнуты вниз головой.
И замочная скважина плотно обёрнута тьмой.

Март, 2007

Дождь. Две спицы, танцующих ночь напролет.
Я вяжу толстый свитер из скрученных фраз.
Чтоб зимою, когда холод в душу войдет,
согревала тебя их ритмичная вязь.

В нити шерсти цветной тёмный воздух вплету.
Чтобы свитер дышал. Чтобы фраз вещество
не линяло, хранило узор, теплоту.
Ты наденешь на голое тело его.

31 Авг., 2014

Проткнув туман
соломинкой луча,
коктейль из звезд,
воды, размокших сучьев,
восточной на хвое,
по ночам
цедит луна
из озера, сквозь тучу,
у нас в лесу.

2 дек., 1993

В капелле замёрзшего леса
Зажглись канделябры деревьев:
Великая люстра сосулеч
На землю сочится закатом.
Торжественно вытянув шеи,
Сидят неподвижные звери.
Закинули головы в небо,
И морды сияют блаженством.
Луна, разметав свои юбки
По бархату ложи небесной,
Рассматривает благосклонно
Притихшую публику леса.
Бежит по кустарнику шёпот.
И слышно, как за горизонтом
Настраивают инструменты
Невидимые музыканты.
И ждут своего дирижера.

Ветер ночью гуляет в промёрзшей избушке
И разошедшийся стол одиноко вздыхает,
Как старик, в темноте вспоминающий тайну,
Поделиться которой ни с кем невозможно.
Инкрустировал иней стеклянные листья,
Стены выложил хрупким своим перламутром.
Драгоценной шкатулкой, запятанной в зиму,
Спит избушка. Ей снятся зелёные птицы.

Спят синие осины, пригнув к земле горбы.
Их тени осенили осенние грибы.
Чуть всхлипывают липы, рвут листья на себе.
И бусинки брусники разбросаны в траве.
В воздушных ямах запах осин, пожухлых лип.
Лягушечьею лапой листок к груди прилип.
Все небо прохудилось, льет дождик по краям.
И наполняет гнилость живой, растущий храм,
где служат литургию деревья надо мной.

8 мая, 1996

Ночь. Рождество. Однорукий столяр.
Подогнаны прочно неровные строчки.
Заподлицованы строчки в слова,
И наглухо вбиты гвоздей многоточья...
Звёзды застыли в квадрате двери.
Занозы в руках от сучков и помарок.
Ночью столяр для тебя мастерит
Избушку из слов. Новогодний подарок.

Дрожащий лес — эпитафией к любви,
мох пересыпан муравьиным крошевом,
татуировка сучьев, скрип травы,
в плероме лиственной — личинки прошлого.
Флотилии поющих комаров,
виденье самолета шестикрылого.
Вполнеба белый воспаленный шов...
Так долго длилось. И не знаю, было ли?

8 мая 1997

Ветер плотно натянет на раму окна
загрунтованный солнцем кусок полотна,
где в слиянии синего и желтизны
жирных веток блестящие тени видны.
Там над травами, в ворохе мокрых мазков
распускаются кляксы дрожащих птенцов,
горизонт, превратившейся в контур лесной,
пилит пухлое облако чёрной пилой,
и бессмертная птица в сиянии брызг
неподвижно летит через солнечный диск...

13 нояб., 1996

Ржавой мочалкою ветер-чистюля
сдирает нагар с небосвода умело.
В чёрной долине внизу, как в кастрюле,
кипит молоко облаков подгорелых.
Запахом трав и кореньев болотных
насквозь пропитались отвесные скалы.
В трещинах мечутся крики животных,
и тычется эхо куда ни попало.
Днище кастрюли нагретой дымится:
готовят на солнечном масле дешёвом
варево жизни дряхлеющим птицам
в окутанной паром небесной столовой.
Кто-то знающий меру и смысл Холста
ночью выверил точно детали, цвета
и собрал их под утро в окошко мое.

28 нояб., 1996

Лес просвечен рассеянным светом,
Как туманный рентгеновский снимок,
Дышит в клетке грудной мокрый ветер,
Ребра веток укутаны дымом.

В очагах воспаленных оврагов,
Вчёрнх туберкулезных кавернах,
Набухает микробами влага,
Воздух в ветках хрипит равномерно

Вырывается в небо со свистом.
Лес бормочет молитвы бессвязно
Сонмом нежных болезненных листьев.
Словно знает уже свой диагноз.

Под утро проснёшься, и лес в негативе.
Блестит кокаиновый снег меж стволов.
Под горкой ребристой висят сиротливо
Волнистые крыши озябших домов.
Под заиндевелой луною текучей
Деревья в снегу голоса о весне.
И лыжники в белых одеждах беззвучно
Плывут привиденьями в синем окне.

Ты что-то бормочешь со сна несуразно.
За синим стеклом начинается день.
И, словно печать а имперском указе,
В снегу расплылась твоя чёрная тень.
Стоишь у окошка и светом проточным
Глаза сполоснув, представляешь себе,
Как тоненькой змейкой в столбе позвоночном
Тепло поднимается вверх к голове.

Сент., 1992

Зернистый, насквозь промороженный воздух,
Блестящие точки плывут по луне.
Слезятся, мигая, мохнатые звёзды
Сквозь снег, засыпающий снег.
Сияньем наполненный иней на елках,
Как оледеневшее кружево слез.
Царапают твердое небо иголки,
Снежинки сметая со звезд.
Ломаются в венах прозрачные гвозди,
И медленно кровь замерзает во мне.
Слезятся, мигая, мохнатые звёзды
Сквозь снег, засыпающий снег.

Нояб., 1992

Сосны рыжеватая грива
в искрящемся снежном берете
висит, наклонясь над обрывом.
Берет, нахлобученный криво,
Купается в солнечном свете.
Вдали полыхают зарницы.
Как трещинка чёрная ветка
В эмалевом небе змеится.
На ней длинноклювая птица
вся отполирована ветром.
Вмурованный в твердь небосвода
мерцает в эмали булыжник
из туч в золотистых разводах.
Литые предметы природы
в пространстве висят неподвижно.

Янв., 1993

Свет, отразившись, ко мне попадает в зрачок,
Формируя в мозгу всё твоё отраженье.
Матовым блеском сияет сквозь воздух плечо,
И, блуждая по телу, дрожит наважденье
Солнечных бликов, завязанных в жёлтый пучок,
Мокроватого мха, комариного пенья,
Губ перламутровых, вкрадчивых слов и ещё...
Осторожно танцующих при-косновений...

В коридоре пустом из стекла
я плыву вдоль свечения инея.
Белый морок — пушистая линия,
заплетённая в чёрных стволах,-
вьётся, нежно зрачки мне царапает...
Поглощая свечение, ползёт
мой автобус весь день напролёт,
сквозь деревья, сквозь снег — тихой сапою.

13 Марта, 2005

Дуга розоватая радуги
Слоистый изогнутый луч
Оклеен прозрачной бумагою
С чернильными кляксами туч.
В деревьях, остриженных наголо,
Осипшие птицы галдят.
Их клюквы, набухшие влагою,
Сияют, как капли дождя.
Долина цветами усеяна.
И мир до краев освещен,
Но слышно, как дышит размеренно
Холмами земли горизонт.

САД УТРОМ

Ночью ветер вцепился в сирень под дождём.
И теперь не отвяжется — как ни проси я —
лепестков лепетанье в саду за окном,
словно бьющихся в медленной эпилепсии.

В вертограде чудес просыпаются тени,
и дыхание птиц набухает в росе...
Не насытится зренье росой и сиренью...
Видно я от себя не завишу совсем,

видно что-то сломалось внутри этой ночи,
и сквозь трещины-окна совсем уже рядом
клокотанье колючих, бликующих клочьев —
блёклых гроздьев во тьме — наплывает из сада,

где засохшие нити дождя, паутиной
обметавшие куст, в серебристой листве,
в блёклых коконах-гроздьях блестят нестерпимо.
И глаза наполняет роящийся свет.

Лепестков одуряющая лопотня
прилипает к душе. Так что нечем дышать.
Лепота-благодать не сойдёт на меня...
Но и сад не сойдёт уже за благодать.

19-20 авг., 2005

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТИХОВ О ЛЕНИНГРАД-ПЕТЕРБУРГЕ



СТАНСЫ

В. Гандельсману

-1-

Дождём отполированный
графин пузатый купола
сквозь синий воздух светится
в футляре золотом.
Струится свет с Исакия,
полощется и хлюпает
внутри вино закатное
под пробкою с крестом.

Посапывая, греется
собора туша сонная,
вдыхает слизь болотную,
вся, как орган, гудит.
И хороводом медленным
колонны многотонные
плывут вокруг Исакия
в гранитных бигуди.

Качаясь в люльке месяца,
храм Божий отражается
над Петербургом нищенским
в зеркальных облаках.

Из купола прозрачного
по небу растекается
бессмысленною роскошью
багровая река.

1993

-2-

В Двенадцати Коллегиях
чиновники бесполое
на низких подоконниках,
как статуи, стоят.
Совиные, тяжёлые,
прилизанные головы
блестят очками толстыми,
уставившись в закат.

Широкой ртутной лентою
лежит Нева Викентьевна.
Скользят по ней торжественно
в мазуте голубом
корыта баржей угольных.
И расцветают медленно
трезубые светильники
над Троицким мостом.

Прочерчена линейкою
над бывшею столицей

игла Адмиралтейская.
И контур седока,
летающего над площадью
с простёртою десницею,
печатью Фальконетовой
оттиснут в облаках.

-3-

Согнув рога смиренные,
троллейбусы стеклянные
петляют неприкаянно
по чёрной мостовой.
Как гроздь перезрелые,
висят из окон пьяные,
на тонких шеях лица их
горланят вразнобой.

На улицах обшарпанных
торгуют дрянью разную
шеренги баб раскрашенных,
настырных мужиков.
Перебирая лапами,
в пасть магазина грязную
сороконожка-очередь
ползёт между домов.

МАРТ

Отёки лиловых домов,
Тяжелые капельки ртути...
Приблизись и заглотнет,
Холодная капля. Лишь руки
Мелькнут из квадрата парадной.
Как фокус иллюзиониста,
Трамвай выплывает нарядный,
Беспомощный и шелковистый
Как гусеница на асфальте.
Облепленный мокрой рекламой,
Плывёт сквозь блестящие пальцы
Факира из чёрной парадной...
Из мокрого снега оживает молитва
Молитва из мокрого, синего снега...

Мой город, холодный, нарядный,
С мостами торчащими в небо,
Колодцами мокрых парадных,
Домами, в которых я не был,
Арабскою вязью балконов,
Дворцовой жёлтой известкой,
Обрывками красных погонов,
Расставленных по перекресткам,
Невою, до края налитой
Свинцовой водою и ветром,
Расчерченной слизью гранита,
Ноябрьским нищим рассветом...
Мой город...

Летит к Ленинграду во тьме электричка.
Охрипший старик-инвалид с костылём
в разбитом вагоне поёт истерично
старинную песню о графе Толстом.

Жестокий романс, раздирающий бронхи,
вагон заполняет мольбою живой:
«Подайте, братишки! Подайте, сестрёнки!
Подайте... я сын незаконный его...»

Звенят ордена, оловянная кружка.
Застыл инвалид у вагонной двери.
Плывут над его головой равнодушно
на чёрных столбах фонарей волдыри.

А дождик штрихует дома в Ленинграде,
чугунных решёток арабскую вязь
в косую линейку ... как в детской тетради —
чернильные кляксы, невнятица фраз...

1987

ДВОРЦОВЫЙ АНГЕЛ

Дворцовый ангел стынет на колонне.
Стекает небо в пасмурные лица
Высокий крест мерцает лунной бронзой.
В слезах зелёных — белые ресницы.
В слезах зелёных — столп Александрийский.
И не за что на небе уцепиться.
Раскинул крылья ангел — чёрной птицей,
Обломком бронзы, жест самоубийцы...

Расплавленное солнце
стекает с острых шпилей
в асфальтовые лужи
зеркальных площадей
и застывает блеском
витрин, автомобилей,
коричневою плёнкой
на лицах у людей.

Расплавленное солнце
по площадям полощется.
Полотнища из солнца
на всех домах висят.
Весь по колено в солнце
слепой идёт по площади,
и палка истерично
стучится о асфальт,

разбрызгивая солнце,
расплавленное солнце...

Сонный город устало и строго
Закрывает пустые глаза.
Я засну. Мне приснится дорога.
Крестный ход. Над землей образа...
Молодой, невесёлый священник
Мне покажет рукою: «Иди:
Как хоругви, пасхальное пенье
Люди в чёрном несут впереди.
Всё сливается пение, ветер...
Нависает слепая беда.
Крестный ход тонкой чёрною плетью
Над порочной страной — Ленинград.

Принарядились зданьца
Все кружева расправили,
В зелёно-белых платицах
Плывут сквозь облака,
Гирляндой окна тянутся,
В них, словно мёд расплавленный,
По чёрным стёклам катится
Рождественский закат.
Плывут в закатном пламени
Дворцы одноэтажные,
Янтарным ожерелием
Качаясь над Невой,
Колонны в буклях каменных
Блестят алмазной сажеею —
Дряхлеющие фрейлины
Вплывают в Рождество.

23 дек., 1989

Над Невой туман красноватый.
Сиротливо трамваи поют.
И гарцует упырь-император,
в упоении топчет змею.

Прорезь в небе заполнена тонкой,
жёлтой Адмиралтейской иглой.
К ней приколото красное солнце,
как пылающий флаг боевой.

Всё плотнее туман набухает
тёплой кровью, пугающим сном.
И почти на глазах зарастает
из России в Европу окно.

1990

ТРИПТИХ I

1.

Облака, будто хищные птицы,
В полночь вьются над Зимним Дворцом
По ступеням у трона струится
Тень расстрелянной императрицы,
И вокруг неё лунным кольцом
В неподвижных напудренных лицах
Чуть слезятся глаза мертвецов...
Над разграбленной нищей столицей
Облака, будто хищные птицы.

Нояб., 1991

2.

Засыпанный звёздами, город мой дремлет.
Сияют в асфальте алмазные зёрна.
Спускаются с неба по лестнице чёрной
Ослепшие ангелы смерти на землю.
Нояб., 1991

3.

Наощупь по лестнице в небо — все выше,
Немеют ладони ободранных рук.
Хрипящими клочьями пламя вокруг
Дрожит извиваясь рерывисто дышит,
Стекают железом расплавленным крыши.
Весь до горизонта горит Петербург.
И сажай, как хлопьями чёрного снега
Лицо замечает...

Янв., 1992

В небесах, как клеймо , буква «М» на игле;
Из отверстий земли, не спеша выползают
Караваны навьюченных домохозяек
И покорно бредут, увязая во мгле.
Фонарями взрывается воздух. Весна.
На углу проституток щебечущих стая.
Иностранец испуганно шаг ускоряет.
В подворотнях бренчит на гитарах шпана.
Под землей проплывает по трубам дерьмо.
Водосточный кишечник урчит плотноядно
И сквозь стены багровые, рваные пятна
Проступают на ливнях квадратных домов.
Зажигаются в окнах бесшумно огни,
И в одном из квадратиков жёлтых сижу я,
Как китайский болванчик, качаясь и жмурясь.
До рассвета шлифую словечки свои.

Июль, 1991

*Василиск — легендарное чудовище. По преданию, каждый, кто взглянет на него, умирает от ужаса. Единственный способ убить Василиска — поставить перед ним зеркало.
Базилевс — император. (греч.)*

Из Невы
Торчит сломанный луч,
Между шпильями
В небе повисла
Амальгама
Слоистая туч,
Словно зеркало
Для Василиска.
В жёлтом небе
Скользит отраженье —
Это в вечность
Сцепившись летят
Над водой
Чёрной троицей тени:
Император,
Кобыла,
Змея.

20-24 Сент., 1991

Мой дряхлеющий город засыпало синей золою.
Это небо крошится на спины идущих с работы.
Камертоны решеток протяжно поют над землею,
И балтийская гниль набухает в груди как мокрота.
В цилиндрических трубах сырых, глубоко под домами,
Словно ампулы мёртвого белого света, проворно
Пробегают вагоны, набитые туго телами,
И со свистом во тьму исчезают пустые платформы.
Эскалаторы плотную массу выносят наружу.
Ошалевшие люди выходят на мокрую площадь,
Расползаются в улицы, лезут с терпеньем верблюдьим
Вверх по скользком ступеням, находят квартиры
наощупь,
Открывают клеенкой обитые двери. Зевают,
Опускаются грузно в колючие ребра диванов,
И остатки вчерашней еды торопливо глотая,
Застывают, уставившись в ящики с мутным экраном.

22-24 мая, 1992

ТРИПТИХ II

1.

Город сжался в комок ожиданьи удара.
Словно ёж, ошетинился иглами шпилей.
В темноте напряглись сухожилия арок,
Сбились в кучу дома, плотно двери закрылись,
Громыхая суставами петель, затворов...
Как гудящая Азия Божьего гнева,
Саранча вертолетов несётся на город,
Лопастями гроша беззащитное небо.

Янв., 92

2.

Над церквями, мостами, домами
В зимнем солнце горящее тело,
Налюбовленное до предела,
Изогнувшись дугою, летело,
Всё обмотанное облаками.
В нём лиловым, глумливым отливом,
Сотни глаз не мигая мерцали,
С хрипом небо жевал хохотальник
И сквозь ветер смеялся гугниво.
Это женское тело в преддверии
Превращенья в знамение плыло,

Выжигало цветы на могилах,
Растекалось по небу, струилось
Белым облаком с обликом Зверя.

26 янв., 92

3.

Муравьи высотой с человека, из мглы,
Выползают колонною по-трое в ряд,
Задевая дома и ломая углы
Их клешни с металлическим лязгом звенят.
В самом центре колонны ползущим пятном
Пустота. И внутри, запрокинувши рот,
Чингизхан Джугашвили Гитлер идет,
Окружённый живым муравьиным кольцом.
И пробитую пулей икону к груди
Прижимает, уставясь в небесную твердь.
А кольцо муравьев возбужденно гудит,
И в хитиновых панцирях плавают смерть.

Февр., 1992

Собор Атеизма Казанский
По купол закутался в сон.
Ритмичная тяжесть пространства
Спит в чередованьи колонн.
На красном столпе чёрной тенью
Спит ангел, сошедший с небес,
Спасением от наважденья
Над площадью выставив крест.
Под плёнкою слизи Балтийской
Уснули машины в дворах.
В бескрайней равнине российской
Спит город святого Петра.
Спят эки, начальники, судьи,
Дивизии русских солдат,
Смертельно уставшие люди
На жестких кроватях храпят.
Как будто бы в анабиозе
Спят вот уже семьдесят лет
Живые личинки в морозной,
Оставленной Богом земле.

19-20 Янв., 1993

Над каналом храм языческий
Весь в пупырышках дождя.
Спит в сиянии электрическом
Чёрно-жёлтая вода.
Тряпкой пёстрою, кровавою
Обмотав кресты свои,
Над водою жёлтой плавает
Церковь Спаса-на-Крови.
Купола висят в прострации,
Чуть касаясь на ветру.
Льётся с неба радиация
Сквозь озонную дыру.
Кто-то спит на мокрых ящиках,
Кто-то кается в грехах.
И гуляет в рваном плащике
Автор этого стиха.

Янв., 1993

Висят голубые антенны
Как мёртвый кустарник, корнями
Проросший сквозь крышу и стены.
Троллейбусными проводами
Расчерчен в линейчку воздух,
И пахнет болотную тиной.
Горят по квадратикам звёзды
Дрожащая вывеска «Вина»
Блуждает в углу окоёма.
Пulsирует светом проточным
Над картою неба огромной,
Как подпись, неоновый росчерк.

.....

И я на холодной подушке
Плыву между звёзд неподвижных...

20 сент., 1993

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС

Выйди в ночь и иди на окраину,
В твой заброшенный дом, где как встарь,
У подъезда, смурной, неприкаянный,
Кровью воздуха плачет фонарь.
Здесь единственный шанс на спасение —
Этот город, фонарь, миражи...
Помолись и слова очищения
В своем сердце смиренно сложи.
Ранку воздуха, йодом прижжённую,
Взглядом бережно перебинтуй.
И белесую плоть воспалённую
Всей коростою губ поцелуй.
Исцеление будет даровано,
Так что кожей почувствуешь вдруг:
жизнь твоя в этот город вмурована,
В Петербург — Ленинград — Петербург

7 окт., 1993

В тот час, когда в загаженных парадных
жильцы крадутся в адской темноте,
и над Невой, на страшной высоте,
имперскою химерой Медный Всадник,
хрипя и улыбаясь плотоядно,
летит с кровавым знаменем в руке,
и уплывает в вечность по реке,
как чёрне гробы между дворцами,
пустые баржи, сажаю мерцая...
В тот час и я уйду из этой Яви.

6 дек., 1993

НЕВСКАЯ ЭСТАФЕТА

Имперский кентавр на зернистой скале,
Ощерив усы над Невою летит.
Помет голубиный на медном челе
Стекает, как белые слезы, в гранит.
Указ, эстафету, России судьбу
Кентавр-император зажал в кулаке.
И руку навстречу ему протянул
Плюгавый диктатор на броневике.

1993

Стада машин измученных
ревут в загоне площади,
уткнувшись в небо звёздное
клыками жёлтых фар.
Дрожат их скулы потные,
По коже свет полощется.
Растет, виляет в воздухе
хвостов пушистых пар.
Ночь. Контур Петропавловки
из горизонта выпилен.
Он брюхо тучи нежное
царапает иглой.
Бездомные животные
во тьму сияют никелем...
И Всадник — как империи
обломок над скалой.

Март, 1994

Между Николаем и Петром
сквозь асфальт, нагретый добела,
рос Исакий за моим горбом.
И стояли в небе по углам
два лиловых солнца, окоём
выжигая медленно дотла.
И текла в сиянии двойном
вниз Адмиралтейская игла,
небеса разрезав пополам
жёлтым металлическим ручьём.
Завернувшись в солнечную пыль,
трепетала туча в белизне
бабочкой, наколотой на шпиль.
Изогнулся Медный на коне
и, проткнув сиянье парой крыл,
двинулся по воздуху ко мне.
Вспыхивал, копытами скользил,
и огонь струился по спине...
Вот тогда над солнцами в огне
Петербург небесный проступил.

Март, 1994

Ничего не забыв, сам себя пережив,
в Петербург я вернусь совершенно седой,
загорелый, похожий на свой негатив.
Полукружье моста глубоко под водой
зогнется, двойную дугу очертив,

словно люлька для тени бездомной моей...
И я снова внутри... Отраженья со дна
поднимаются вверх... Я продрог до костей.
Белой ночью плывет по зелёным волнам
пароходик, обвешанный визгом детей.

Уплывают дворцы сквозь слоистую муть...
Лишь Исакия купол блестит вдалеке,
как облитая золотом женская грудь
с почерневшим крестом на разбухшем соске.
И плывут отраженья в последний свой путь...

Вереницей светящихся каменных плит
в ночь еврейское кладбище тихо плывет...
Там в земле заболоченной мама лежит.
Уплывает под арку моста пароход,
и, склонившись за борт, кто-то плачет навзрыд.

Это я, превратившийся в свой негатив,
на экскурсию с классом полжизни назад,
сам себя пережив, уплываю в Залив...
И на дно опускается мой Ленинград.

Авг., 1994

...И лифт меня уносит в небосвод.
Вдогонку ветер жалуется, стонет.
Пенал прозрачный в облаках плывёт,
весь Петербург внизу — как на ладони.
Прострочены сквозь бархат площадей
троллейбусов стеклярусные нити
дрожащим веществом толпы людей
распластанные улицы залиты.
С броневика орёт беззвучно вождь
снуют одутловатые машины
и морозящий, серебристый дождь
смывает лица с окон магазинов.
Летит припетербурженный ямбокс,
синхронизуя все движенья с ритмом
тяжёлой крови, бьющейся в висок,
и с бормотаньем праздничной молитвы.
Прозрачный лифт взлетает в небосвод
сквозь облаков разорванные клочья...
В нём, выйдя из телесной оболочки,
моя душа над городом плывёт.

1-15 янв., 1995

ЛЕНИНГРАД. 18 МАЯ 1970 ГОДА

*Чудище обло, озорно,
стозевно и лаяй.
Тредиаковский, «Телемахида»*

Колонны дворцов изогнулись
и стали похожими сразу
на ребра огромных рептилий...
Сквозь мясо пригревшихся улиц
ростками живых метастазов
трамвайные рельсы змеились...

Заштопывал рваные тучи
сияющими проводами
над крышами ветер со свистом...
Рептилии улиц тягучих
под солнцем свивались клубками
и кожей дрожали пятнистой...

Толпа ожидала покорно
в приемной тюрьмы на Шпалерной,
как очередь в кассу вокзала...
И чудище, обло, озорно,
и лаяй к тому же стозевно,
живьём человечков глотало.

18 мая 1995

... А где-то под утро сквозь мякоть рассвета
в небесном пергаменте изжелта-синем
иглою солнца царапает ветер
чертёж моей жизни над Финским заливом.
Дни словно штрихи, и пунктир рваных линий
теряется в туче... конец перспективы.

Потом голоса прорастают везде,
сплетаясь в гортанно бормочущий свод.
И тело плывет сквозь рассветную слизь.
Так мост, отражаясь в небесной воде,
в дрожащие клещи берет пароход...
Еще один день по течению... вниз.

Еще в один день по великой реке...
Прикрыв воспаленными веками небо,
с разинутым ртом и с повесткой в руке
в сиянье плыву, затаивши дыханье.
Настойчивый звук прорастает, как стебель
среди голосов. Это крыльев шуршанье

над клеткой грудной. И становится страшно:
я чувствую каждой частичкою кожи —
кружится душа как прозрачная птица
над телом моим, ещё мною не ставшим.
Но клетка открыта, и птица, быть может,
хотя бы на день один, но возвратится.

Март — Апр., 1996

Грибное место жёлтых фонарей.
Плывут, как щепки по реке, погоны.
И свет в кристалле будки телефонной
дробится миллионом плоскостей.

Чужое время, взятое взаймы,
течёт дождём и двойничок мой пьяный
пиликает мотив из Дон-Жуана
опять всю ночь у городской тюрьмы.

Танцует в луже старый идиот
и машет лопастями крыльев синих.
Сверкают брызги веером павлиньим,
и воздух жизни изо рта идёт.

Грозит толпе. Глотает чёрный дым,
из уха палец высунув громадный.
А в небесах летящий Медный Всадник
десницей раздвигает дождь над ним.

17 июля, 1996

ВОЗЛЕ БОЛЬШОГО ДОМА

В трамваях всё те же старухи с детьми
сидят неподвижно, скрежещут колеса
в *Летейском* проспекте напротив тюрьмы,
где столько часов я провёл на допросах.
И каждую ночь, ухмыляясь, плывёт
в венце из размокших трамвайных билетов
по чёрной Неве отражение моё...
За ним караваны вождей на портретах
плывут между мёртвых дворцов под мостами
в белесый залив, где кончается память.

19-20 окт., 1996

В зале маленьком душно.
Всю ночь напролёт
по экрану плывут
мимолётные кадры:
на подушке воздушной
летит пароход
через Лету-Неву
мимо Летнего сада.

Лопотанье мотора
и жалобы-всплески,
словно лепет молитвы.
Летит над Невой
пароходик-заморыш,
облепленный блеском —
лепоты позабытой
осколок живой.

15 Мая, 2001

ПЕТЕРБУРГСКО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МЕРИДИАН

Медных всадников стаи последних Евгениев травят,
режут небо на ломтики лезвия вздыбленных грив.
Допотопные баржи плывут по Неве величаво,
души рано умерших увозят в белесый залив.

Освящённый потерями город, где лезут наружу
Люди денег, впусившие идолов в сердце себе,
где мое отражение впечатано в каждую лужу,
этот город промёрзший оттиснут на нашей судьбе.

...Груды белых домов прилепились у самого края
иудейской пустыни — ступенями вверх, в небосвод.
Палестинивой пылью над кладбищем голым сияют
Золотые ворота — там в город Мессия войдет.

Из земли каменистой упрямо растут синагоги.
В душевных комнатах шепчут слова оживающих книг
ешиботники русские, мозгом уставившись в Бога,
рядом с местом, где предал три раза Христа ученик.

И от града святого Петра вдоль по меридиану
к граду мира — Иерусалиму, хранителю слов —
как по телу живому открытою рваною раной
чуть пульсирует струйка курчавых еврейских голов.

25 дек., 1996

СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ.



ДОМ СОБРАНИЯ

Дом собрания, залитый светом,
Сотни талесов на головах.
Всё качается. В душном, нагретом,
Жёлтом воздухе вязнут слова.
Всё качается. Передо мною
Неподвижны лишь буквы Твои.
Высоко над восточной стеною
Вбито: «Знай, перед кем стоишь!»
Дом спасения, утлый кораблик,
По житейским несется волнам.
Его нос прямо в небо направлен,
И почти затонула корма.
Видно так всегда было и будет.
Мы плывем уже тысячи лет,
И все время по искре в сосуды
Собираем рассеянный свет.
Уплываем сквозь ночь, раздвигая
Кораблей затонувших куски.
Свою службу матросы справляют,
Ловят сетью в воде огоньки.
Бородатые грустные братья,
Нараспев свои псалмы поют ,
В драгоценных сосудах на мачте
Искры Божьего света растут...

ИЕРУСАЛИМ

Лохмотья крикливых базаров
и запах лимонов прогнивших
разбросаны по тротуарам.
Горячие, плоские крыши,
текущие солнцем и потом,
прорезали лысые горы.
Царица евреев Суббота
вступает в сияющий город.
Всё небо сгибается плавно,
как свод синагоги, и снова
под ним в колыбели из камня
качается Божие Слово.

13 июня, 1995

Собор пустил сияющие корни
в распаханные ветром небеса.
И, набухая звоном колокольным,
плоды над сонным городом висят.
Но некому собрать...

25 февр., 1996

КЕСАРИЯ. КОНЦЕРТ.

Амфитеатр. Камни, пот, окурки.
Вдоль горизонта движется песок.
Среди камней — поющая фигурка.
И это — самый Ближний мне Восток.

На связках тормозя голосовых,
выруливали круглые рулады
и, набухая от нескромных взглядов,
кружились роем возле головы.

Заполнила пространство и застыла
покрытая испариною трель.
Темнеет воздух, словно акварель,
в которую добавлены чернила.

Две сотни тел, преодолев усталость,
сквозь трель летели в акварельной мгле.
И женщина поющая казалась
последней остановкой на Земле.

6 авг., 1996

Время — час за часом —
колокольным звоном
рассылали в Город
часовые звонниц —
близнецы-монахи
в чёрных балахонах.
И в шарах прозрачных
плыло время онно
над горою Скопус
в мареве бессонниц.

Лопалось, беззвучно
заливая Город,
дом мой заливая.
Летними ночами
изнывало зноем
каменное море,
море, над которым
маревое и морок
всё плотней сгущались.
Возвращалась память.

звоном *КОЛОКОЛЬИМ*,
головную болью.
В черепной коробке
человечек голый
среди горящих брёвен
и торчащих кольев

красной кочергою
ворошил уголья —
ворошил бывшее
раскалённый голос.

Уплывали лица
в ночь над Храмом Третьим
белой вереницей.
Я был очень болен.
И качал всё лето
утром на рассвете
время жизни прежней
надо мною ветер,
там, где в люльках звонниц,
звон *околоколен*.

Июнь, 2005

В этот день, как обычно, к заутрене ранней
будут пестрой толпою идти пилигримы
возле Гроба Господня и на Гефсимане;
а в мечети Омара под крик муэдзинов,

прижимаясь горячими лбами к земле,
будут суры священные петь мусульмане;
под Стеною качаться в молитве равнины...
В этот день Некто въедет на белом осле
в золотые ворота Иерусалима.

9 сент. , 1996

ПАЛИМПСЕСТ

Столб прожектора — гладкий, поваленный ствол
светоносного дерева. Мощная крона
прорастала в экране листвою зелёной.
Там над каждым листочком мерцал ореол,
будто был он безликой, живою иконой.

Летний домик, где крышей пророс виноград.
Стол. Пустые тарелки. В них плещутся звёзды.
Трутся запахи, листья, тяжёлые гроздья
голосов вдалеке. Трётся ветвями сад.
И от тренья вокруг согревается воздух.

Набухает в квадрате окна лунный диск,
титры в небе под ним полосой серебристой.
Но прочесть не успел — они слишком уж быстро
уплывали за холм. Сноп сияющих брызг
распустился над садом, как будто со свистом

в диск луны вдруг всадили огромный топор.
Он рассыпался, и в серебристом тумане
снова титры, плывущие в *листоплесканьях*:
режиссёр, сценарист, оператор, актёр,...
Поневоле один во всех лицах и званьях.

27 — 29 Июня, 2010

... и сгустившийся свет приобрёл понемногу
очертанья младенца. Тяжёлые волны
расстилало покорное море под ноги.
Пересыпанный всплесками крошечных молний
Он шагал над водою, согнувшись от груза
новой жизни. За Ним, словно белые пятна,
поднимались со дна, плыли к небу медузы,
набухали младенческим пенем невнятным
облака, их края серебрились... Но берег
там, где ждали Его, уходил в темноту...

31 июля, 2010

Проснулся под вечер.
Была половина десятого.

Сквозь зыбкое марево
по черепичному морю

плыл купол собора,
похожий на Лысую Гору.

Над куполом крест.
Там прозрачное тело Распятого

сияло во тьме.
И лучи проходили сквозь город.

На каменных стенах
проёмы оконные ожили.

А сердце собора стучало.
Бил колокол глухо.

И в каждом окне
неподвижно стояла старуха

и слушала небо.
Ведь завтра одной из них может быть

зачать суждено от луча.
Он войдёт в её ухо.

20 авг., 1997

НОЧНОЙ ПОЛЁТ ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА В НЬЮ ЙОРК.

Две сотни невзрачных потомков,
забывших пророка Иону,
опасливо шепчутся в брюхе
летающего Левиафана.
Их души мерцают в потёмках.
Вокруг толща ночи бессонной
гудит равномерно и глухо.
Над чёрной водой океана
распластаны крыльев дрожанье,
хвост огненный плещется в тучах,
икринки затылков, газеты,
осклизлые стены и блики... —
всё месиво по расписанью
уносится в рыбе летучей
к Ниневии Нового Света.
И там она в устье великом
затихнет и ляжет на нерест.

8 Окт., 2010

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ КОММУНАЛКИ

ТРАПЕЗА

Гирляндой овальные плоские лица
висят над столом, прижимаясь к стене.
Над лицами дым сигаретный слоится.
Усталый хозяин сидит в стороне.

Нанизаны на серебристые вилки
кровавое мясо, раскрытые рты.
Полощется свет в недопитых бутылках,
трясутся ножи на тарелках пустых.

Испуганный мальчик стоит у рояля
с зажжённой свечою, прижатой к груди.
В мерцающем воздухе к лицам овальным
прилипли куски ритуальной еды.

Набухшие губы жуют беззаботно,
моргают невинно пустые глаза.
«Не кушайте мясо убитых животных.
Убоина яд!» — вдруг ребёнок сказал.

Лишь только он кончил, как полночь пробило.
В окне прокричал деревянный петух.
Вдруг слышно им стало, как вещи молились.
И свет на груди у ребёнка потух.

А тот, кто был должен наутро предать их,
из комнаты вышел.

1988

ГОД 1926

И каждое Божие утро
Убийцы за правое дело
С глазами сведёнными правдой,
Единственной правдой на свете,

В прихожих бросают шинели,
Пружинистой, четкой походкой
Проходят в свои кабинеты
Убийцы за правое дело.

И каждое Божие утро
Шуршат осторожно чулками
Испуганные машинистки
В прокуренных, жёлтых приемных.

Колышутся белые блузки
Над ворохом тайных инструкций,
И корчится в серой бумаге
Кириллица страшных приказов.

И каждое Божие утро
Убийцы за правое дело
Садятся на жесткие стулья.
Топорообразные лица

Опущены в страшные папки.
Шевелят большими руками,

Решают судьбу имяреков
Убийцы за правое дело.

**ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
СЕРЕДИНА ДВАДЦАТОГО ВЕКА.**

Шли, приплясывая, по линии наименьшего сопротивления.
Молчали, не упуская ни единого случая не прошипеть.
И все время шли, в лицо уставившись фактам.
Лицо было омерзительным, но этого не замечали.
Все ждали чего-то, хотя и верили.
Что так плохо, как будет, до сих пор ещё не было.

По сторонам суетились, цицеронствующие молодчики,
Захлебываясь, повторяли чужие слова,
Гибкие, словно, кнут, и, как пряники жёсткие.
Обещали всё и всем, но почему-то очень нескоро.

А сверху из *Центрального Проискуомитета*
Союза всех великих и языческих республик,
Доносились шаманские заклинания.
Иногда их пытались расшифровывать,
Но это надоело всем очень быстро.

И продолжали идти. А как же иначе...

1987

ЗАКОН

На колёсах из серого камня
колосс неподвижный несётся
с кулаками, приросшими к телу,
в сверкающем облаке пыли.

Сквозь прямоугольные плечи
бесшумно и неотвратно
растёт голова его в небо
и солнце собой заслоняет.

Разрез ассирийского ока
отрезан от мира живущих
густой бородой, как кольчугой
из туч симметрично завитых.

Внизу, под колёсами, люди.
Но лик истукана не дрогнет.
В лице глинобитном лишь ярость,
ленивая ярость погони.

И трупы раздавленных всюду...

1986

СОВЕТСКАЯ СКАЗКА

По стране гуляет Лихо,
Партсобрания в жилконторах,
Чертовщина протоколов,
Бормотанье упырей.
Домовые-понятые,
Прокурор на прокуроре,
Всероссийское веселье
С часовыми у дверей!

Веселятся Василиски
В кабинетах на Лубянке,
Часовые Аты-Баты
Проверяют пропуска,
Расцветают на мундирах
Их погоны, как поганки:
«К нам приехал, к нам приехал
Замдракона из ЦК!»

Замдракона, Змей Горыныч
Водку глушит благосклонно
И любовно отирает
Огнедышащий свой рот,
Голубая вьется нежить,
Лектор — леший из района
Повторяет установку,
Тарабарщину несет.

Водяные адмиралы
Запевают оробело,
Дирижёр — упырь опухший,
Хор партийной мелюзги.
Змей Горыныч подмигнули
Ведьме с первого отдела,
Править бал куда как просто
Там, где вправлены мозги!

Пахнет паленою шерстью,
Замдракона отдыхают,
Топтуны из бывших урок
Чьё-то горе-не-беда.
Пахнет плесенью и смертью
От Москвы и до Китая,
Веселись, номенклатура,
До Последнего Суда!

ЧЕМПИОНАТ ПО МЕТАНИЮ БИСЕРА (МАЛЕНЬКИЙ КИНОСЦЕНАРИЙ)

Атлеты в красных трусах
С охапками времяобразных стихов
Трусцой выбегают на мокрое поле.

Жидкие аплодисменты.
Стихи куда-то уносят.

За толстым стеклом на трибуне
Покровитель в толпе клеветов.

В рябоватом лице синхронно
Качаются жёлтые глазки
Над выпученным животом.

Благоговейное ожидание.

Покровитель привычным жестом
Ударяет в согнутый лагерный рельс.

Официальное открытие Игр.
Тела волосатых атлетов
На глазах наливаются животною силой.
Из ртов вылезают слова,
Слова о воскрешении умерших,
О том, как будут воссозданы
Те, кто давно погибли,

Но выживут только слабые,
И смерти больше не будет
Для тех, кому жить не опасно.

Монгольские лица зрителей,
Опьянённых своею судьбою,
Нависают над стадионом.

Сияют и вьются фразы
Вокруг языков атлетов.

Крещендо.
Голос покровителя в микрофоне
Объясняет ускользающий смысл событий.
На трибунах медные скульпы
Сверкают в лучах заходящего солнца.
Стадион постепенно пустеет.

Старуха-уборщица в белом халате
Выметает замусоленные слова.
Механические брезгливые движенья...

Ветер гоняет по стадиону обрывки бумаги.

Спина старухи заполняет кадр.

Настрадавшаяся Тюркославия,
Всё, что было Советский Союз,
Без ислама и без православия,
Без окраин — Московская Русь.
В коммунальных жилищах Московии
Спорят в кухнях до самой зари,
Рассушливают руссословие
Ахримане, ормуздцы*, сарынь**.
Груз язычества неизживаемый,
Как проклятье над нами висит.
И все реже теперь вспоминаем мы,
Что Христос вдвое старше Руси.

23 авг., 1991

* Ахриман и Ормузд имена богов тьмы и света, сыновей «Сыновей
Безграничного Времени» в зороастризме.

** Сарынь — чернь, толпа.

В РЕСТОРАНЕ

Огромные тёплые бёдра,
обтянутые чешуёю
из липкой мерцающей ткани,
плывут, натываясь на стулья.
В круженье квадратов света
плывут вереницею бёдра.

Вибрируют грани предметов.
Слепая ленивая сила
самцов поднимает со стульев.
И воздух становится вязким,
наматывается на бёдра,
и путается под ногами.

В рубашках, набухших от пота,
вальжные спермотазавры
сквозь запах еды проплывают
в грохочущий угол оркестра.
Их волосы тонкой штриховкой
чернеют на лысых затылках.

Навстречу плывут вереницей
слегка захмелевшие бёдра,
царапаются чешуёю
о вязкий прокуренный воздух.
Поскрипывая и качаясь,
плывут вереницею бёдра.

Плывут маслянистые лица,
лиловые зубы ликуют
в ошейниках из ожерелий.
И твёрдые вены, взбухая,
растут в гофрированных шеях,
как синие ветви деревьев.

Ночь. Четвероногие пары
плывут, прижимаясь друг к другу,
и сходятся тени над ними.
Исчезли все двери, и окна
уже на глазах зарастают
дрожащей болотной тиной.

И дом уже кажется шаром.
Обёрнутый мокрой фольгой,
он катится в чистое поле.
Всё больше сжимаясь в размерах,
он катится к краю Вселенной.

Я где-то внутри в этом шаре.
И дождик за стенкою плачет...
как будто меня отпевают.

1987

Третий день поутру
привкус пепла во рту,
и всё снится, как встречу
я снова с отцом.
А потом просыпаюсь
в холодном поту
и ловлю пустоту
запрокинутым ртом.

В ленинградский ОВИР,
как на круги своя,
в кабинеты людей,
умножающих зло,
возвращаемся снова —
отец мой и я,
возвращаемся мы,
видно, время пришло.

Время ждать разрешенья
и время молчать,
и почувствовать вдруг,
как сужается мир.
Время медленно жить,
возвращаться опять,
как на круги своя,
в ленинградский ОВИР.

Повторять свою жизнь
мы, согнувшись, войдём
в дом, где тайных инструкций
сухая возня.
Секретарша с небрежно
накрашенным ртом
полоснёт плоскозубой
усмешкой меня.

И в святая святых
нас пропустят вдвоём.
За огромным столом
человек без лица.
И спрошу себя снова
я в сердце своём:
«Для чего они мучат
больного отца?»

1989

Верхушки деревьев зажглись за окном.
Поминальные свечи, дрожащие в небе,
Горящим кольцом окружают мой дом,
И стеклянное пламя струится с деревьев.

В промерзшей стране, где царапает снег
На рассвете стекло, и никак не проснуться,
Сугробы в окне, как в замедленном сне,
Под раздувшейся простыней снега крадутся.

Колхозница в ватнике и в сапогах
Дирижирует хором подростков осипших.
Летает корявая палка в руках.
И колючею перхотью небо крошится.

Засыпало поле, крыльцо, дымоход,
Белизною сплошною нас всех замечает.
В пологие склоны земли, как сугроб
Промороженный дом мой всё глубже вращает.

РОМАНС С ЧЁРТОМ.

Эх рюмочки-рюмашеньки,
Разбитый мой сервиз!
Какой-то дрянью крашеной
До положенья риз
С дружкой моим Аркашенькой
Мы нынче упились.

На деньги наши кровные
Последние гроши,
Мы, умозаключённые
Евреи-алкаши,
Разинув рты рифлённые
Пьем за помин души.

За всех, кто в эмиграции
И нас давно забыл,
За наши диссертации,
За то, что нету сил
Здесь больше оставаться нам
За то, чтоб Бог простил.

Закусывая воздухом —
Ведь нам не привыкать —
Мы пьём всю ночь без роздыху,
А в мире благодать:
Светлеет небо звёздное
И кажется опять

Тоска уgomонилася.
Нам хорошо вдвоем,
Нежданной Божьей милостью
Струится солнце в дом.
Но что-то изменилось
В приятеле моем.

Вино ли, кровь венозная
Ударила в висок,
А только весь серьёзный стал
Аркашенька-дружок.
И заявил, что поздно нам
На Ближний, на Восток.

Он стал меня улещивать,
Уткнувшись лбом в плечо,
Мол, можно жить и здесь еще,
Мол Ельцин, Горбачев...
И тут мне померещилось,
что мой Аркашка — чёрт!

В кудрях его мерлушковых
Прозрачные рожки
Блеснули над макушкой.
И жёлтых глаз кружки
Над скулами синюшными
Зажглись, как светлячки.

Вот пятерней ленивою
Залезет он в пиджак.

С ухмылкой глумливую
Протянет свой контракт,
И в ухо торопливо так:
«Здесь подпишись, мудака...»

Меня аж передернуло:
Чёрт в воздухе стоял!
Под ним, как туча чёрная,
Плыла душа моя...
Но тут сверкнула молния,
И отключился я.

Очнулся поздно вечером,
И сразу протрезвел.
Немного ныло в печени,
Гудело в голове.
А рядом в пледе клетчатом
Аркашенька сопел.

Он спал с улыбкой мирною,
Прижав к груди кулак.
Из радио настырная
Мелодия плыла.
Все было чисто прибрано,
Лишь посреди стола

Листок лежал на скатерти,
Забрызганной вином,
И были так старательно
Написаны на нём

Три буквы — словом матерным,
Багровое пятно.
А подпись неразборчиво...
Неужто же моя?

Июнь, 1991

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Многоэтажный дом где-то в новом районе.
Узкая комната. Зелёные скользкие стены.
Невысокий человек с лицом из предыдущей жизни.
Раздвоенное книзу тело заслонило половину окна.
Жёлтоватый свет на полысевшем пиджаке,
Так тает на сковородке шипящее масло.
Надтреснутый голос мне объясняет,
Что Божье царство лишь силой берётся.
На столе большое, синее блюдо
С двумя симметричными рыбами,
Стаканчики с водкой, доверху набитая пепельница.

Он подходит ко мне вплотную.
И к дому подъезжает машина.

*Сквозь сон, как в замочную узкую скважину,
Увижу свои предыдущие жизни.
В последний момент себя вытащу заживо.
И струйкою слов рот раздавленный брызнет.*

Старуха, давно уже впавшая в детство,
лепечет молитвы, все просит упрямо
Знаменья. Пятнистые, дряблые руки
Лежат неподвижно на выцветшей юбке.

В углу телевизор. Лицо Президента
висит в ожерельи из боеголовок,
и губы брезгливые вьются в экране,
как в сети попавшие жирные рыбы.

Огромная Кошка в продавленном кресле,
зевая следит за губами Генсека
и истово крестится пухлою лапой,
как будто пытаясь прогнать наваждение.

Щелчок. В телевизоре хрустнуло что-то:
экран покрывается синевой слизью,
И в длинную комнату, прямо сквозь стену
вплывает кудрявое облачко света.

С жужжанием движется в рое пылинок,
над креслом, над остолбеневшею Кошкой,
на миг застывает и плавно садится
в сухие лиловые букли Старухи.

Трясется посуда в шкафу истерично.
Над облачком вспыхнув, взрывается люстра:
Сквозь рой добела раскаленных пылинок
отчетливо из темноты проступают

Огромная Кошка с обугленной шерстью,
комод с кружевами истлевших салфеток,
моя фотография в сломанной рамке
и в самом низу на блестящем паркете
Старуха с блаженною детской улыбкой.

Янв., 1992

Стою с сигаретой, к стене прижимаясь спиной,
Витают Меня Наблюдающий Я надо мной,
Мой мыслеблүститель бормочет привычно «Окстись!
Запутался ты, все извилины мозга сплелись
Клубком макаронным в коробке твоей черепной.»
Ох, как надоед он мне вечной своей болтовней!

А там , за стеною, дожди монотонно поют,
Смывают обиды. Дымок заплетается в жгут,
В ушко от иголки вплывает лиловый верблюд.
Он держит пластмассовый Ключик-От-Рая во рту,
Назойливо тычется мордою сквозь темноту,
И между горбами соломинки света растут.

Похоже, он прав, и себя растрavляю я сам.
Полжизни прошло, и пора уже бросить к чертям
Со свиньями в бисер всю эту на деньги игру,
Забиться в стихи, как затравленный пёс, в конуру.
И слушать, как льстиво вливает мне в ухо свой яд
Мой мыслеблүститель — Меня Наблюдающий Я.

Март 1991

**СТИХ О ТОМ, КАК МОЕГО ДРУГА ВЕДУТ
НОЧЬЮ ЧЕРЕЗ ТЮРЕМНЫЙ ДВОР НА ДОПРОС**

Набухшею чёрною щепкой
Плывет по теченью смиренно
Его голова в мятой кепке
Средь твёрдых фуражек военных.

С шафранным лицом неподвижным
Идет он, качаясь от ветра.
Серебряный лунный булыжник
Мерцает богатством несметным.

В седой голове семь отверстий,
Раскрытые в ночь до предела.
И приторным запахом смерти
Пропитано щуплое тело.

Май, 1993

Постучался. Открыла соседка.
Кто-то в майке сидел за столом.
Запах тления сладкий и едкий,
Плыл из спальни. И было тепло.

На скамеечке кошка скулила,
Вытирала со скрипом глаза.
В толстом слое велюровой пыли
Золотились над ней образа.

И на ржавой петле скрежетала
В ключьях жёлтого войлока дверь.
А соседка ко мне приближалась.
Я отчетливо видел теперь,

Как под платьем хлопчатобумажным
Ее груди росли изнутри,
Словно сдобные булки, и в каждой
Килограмма не меньше чем три.

Тело вверх поднималось, как тесто,
Распирало одежду на ней,
Всем причинным и следственным местом
Прижималась ко мне все тесней.

Кто-то в майке с остатками пищи
На губах повернулся спиной,

И блеснул за его голенищем
Финский нож с рукояткой стальной.

Кошка выгнулась, глазом зелёным
Подмигнула и стала опять
Лицемерно скулить под иконой
И со всхлипом глаза вытирать.

Запах тления сладкой волною
С головою меня окатил.
И я крикнул, всей клеткой грудною,
Из последних оставшихся сил.
И проснулся...

8-11 Сент., 1993

В ПОЕЗДЕ, КОГДА ИДЁТ СНЕГ

Деревенька промелькнула средь снегов.
Перебивкой чёрно-белой ёлок лапы,
Вереница из ободранных домов —
Как напильник по зрачкам мне процарапал.
А потом всё потонуло в снежной мути,
и посыпались лавиной из углов
чьи-то жесты. Появился на минуту
глаз, замороженный в оконное стекло.

Перевязанный целебной белизной,
постепенно засыпал, и казалось,
что купе, совсем пустое, за спиной,
как жестянка из-под жестов, вдоль по шпалам
громыкает и несется все быстрее...
Божье слово, неосознанное мной,
понемногу поднималось вверх по шее
в мозг, светящийся в коробке черепной.

19-20 дек., 1993

А детства не было. Был двор.
Среди сараев
я пробирался словно вор,
всех избегая.
Но дворник как-то раз засек
и мне вдогонку,
окурки затоптав, изрёк:
«смотри, жидёнок!»

И я смотрел. И шел вперёд,
как по канату.
А за спиной моей народ
ругался матом.
Я был им мальчик для битья
еврей очкастый.
Ох, эта пятая статья
советский паспорт!

Тогда воспитывали нас
рукой тяжёлой
милиция, рабочий класс,
семья и школа.
Из книжек, радио, газет
все время ввали.
И щурился со стен портрет —
товарищ Сталин.

.....

Теперь реклама на домах.
Мой соседи
торгуют бешено в ларьках
несвежей снедью.
Кто похитрее был из них,
уже быть может,
среди начальников больших.
Прости им, Боже.

Двор зарастает трын-травой.
А мне осталось
клеймо на памяти живой —
такая малость.

Июль, 1994

На чёрном небе вырезан квадрат.
Зелёная звезда внутри горит.
Под нею марширует строй солдат.
Стекает пот с раздвоенных копыт.

Шар облака на ниточке трубы
качается над сеткой проводов.
Они идут. Опутаны их лбы
настырною мелодией без слов.

Прицелясь в ночь двухстволками ноздрей,
солдатики выпячивают грудь.
Стальные свечи жёлтых фонарей,
как факелы, им освещают путь.

Процессия грохочет в темноту.
Копыто за копытом, строй копыт.
Я у окна всю ночь — я на посту.
Глаз мозга моего чуть приоткрыт.

Авг., 1994

Каждый день дождевая завеса густая
опускается в семь. Ледяная вода
мой пластмассовый дом в темноте омывает.
Городских инструментов голодная стая
под окном начинает скулить, и тогда
зажигается в центре Вселенной звезда,
и антенны на крыше послушно вступают,
словно скрипки, в осеннем оркестре дождя.
Из воды прорастают звоночки трамваев.
Ветер трогает голым смычком провода...

И поющая лилия прямо над домом
распускает сквозь дождь лепестки облаков.

Нояб., 1994

На кухне шла дуэль на сковородках.
Сражались молча. В адской темноте
звенел металл, мелькали папилютки,
огонь конфорок бился между тел.
А за стеной соседи пили водку —
там мыслящий камыш вовсю шумел.

По коридору шастали старухи,
расталкивая потных мужиков.
И матерок, пропахший русским духом,
рыгалий праздничных, осипших голосов,
перетекал ко мне в воронку уха
настырную мелодией без слов.

Сжималось время с жуткой быстротою
меж рюмкою и кухонным ножом.
Наполненные вещной теплотою,
брели по дому запахи гуськом,
родной кораблик плавал на обоях
сирены завывали под окном...

В других домах, в таких же вот квартирах
ютились те же люди — мы росли
все вместе в тесной коммуналке мира.
И Квартуполномоченный Земли,
усатый человек в простом мундире,
распределял дежурства и рубли.

5 дек., 1995

Колченогое слово *Закон*
по паркету шагало устало
наискось, словно шахматный слон,
и подошвами факты топтало.

А под лампой сидело *Сидело*
и, прикинувшись шлангом, дрожало,
изогнув в три погибели тело.
И гибель четвертая вяло
бормотала, во тьме притаясь.
А *Закон* все шагал и умело
зачищал лезвиями лампас
оголенную душу *Сидело*.

И катались корявые крики
на паркетном полу между ног,
каждый крик превращался в улику:
государство вело диалог
с гражданином...

25 нояб., 1996

Аквариум окна.
На дне между домов
раздувшийся трамвай,
набитый дополна
икринками голов,
в сплетеньях фонарей
и чёрных проводов
волочит свой живот
и, жабрами дверей
глотаю кислород,
вплывает в русский рай...

23 Март., 1997

Нояб., 2000

СО СВИСТОМ ЛЕТЯТ
КОРЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ



В *Глаголандии* поют колокола.
Блики плещутся в морщинистом канале.
Куполята, словно дети, к куполам
золотистыми затылками прижались.

Разгораются в Соборе Языка
образа Святой Грамматики и свечи.
Как бельишко на веревке, облака
просыхают после стирки каждый вечер.

На базаре у Собора тишь да гладь.
за прилавками Силлабы монотонно
предлагают по дешевке благодать,
разливают алиллую по бидонам.

Над каналами поют колокола,
в небо тянутся молитвою весёлой.
В *Глаголандии* никто не держит зла:
его негде там держать среди глаголов.

Сент., 1993

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Кириллица. Просторный прилизанный парк.
Заскорузлые буки и яти,
Корнями проросшие в дикую почву,
Прикрыты изящной словесностью.
У входа седой каллиграф-садовник
Подбирает с благоговением
Листы у подножья Великого Бука —
Прародителя местной культуры.

В центре парка громоздкий дворец
Самодержца всея и прочая.
Лужайка с кустарником мелких стихов.
Наследник в матросской форме.
Фарфоровые, обречённые глаза.
Велеречивый клеветник склонился над ухом.
Подагрой сведённые пальцы
Сжимают учебник теории зла.

По жёлтым, пятнистым аллеям гуляют
Напудренные суффиксы,
Со словарями, прижатыми к крахмальным манжетам.
Перебрасываются снисходительно,
Оттенками здравого смысла.
Вдоль аллей подстриженные, кудрявые деревья.
Каждый год они приносят одни и те же плоды,
Которые очень ценятся населением.

Если долго идти по любой дорожке,
Вдруг очутишься в первобытном лесу.
Затравленные местоимения
Бродят между коряг и корней.
Суется и путаются под ногами
Прилагательные, готовые на все:
Каждый ищет предлог — показать себя.

1986

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРЁХСТИШИЯ

Сущность имени — это звучание.
Сущность вещи — в звучанье названия:
в самом имени — скрытое знание.

Существительно имя звучащее .
в основании фразы лежащее
существительное подлежащее.

А сказуемый смысл движения
отглаголен степенным скольжением
вдоль к придаточному предложению,

где склоняются неукоснительно
окончанья имён существительных
падежами. Обычно винительным.

Вместе с ними в смиренном склонении
дожидаются произнесения
наши личные местоимения.

Перезревшими чёрными почками
набухают меж слов многоточия,
запятые, кавычки и прочая...

Ритмизованные пунктуацией,
части речи простёрлись в прострации .
в ожидании реанимации,

оживления новым дыханием...

1990

КИРИЛЛИЦА 33-Х АЗБУЧНЫХ ИСТИН

Вмуровано прочное	А	в строку пирамидой бетонной.
Беременной бабою	Б	живот, словно сажень косая.
Грудями вперёдлезет	В	толкает нахально соседей.
Прочерчено в сумерках	Г	горбыль фонаря над рекою.
Щетиной отравленной	Е	добычу свою поджидает.
Букетом жасминовым	Ж	цветёт, прорастая сквозь буквы.
Покорно качается	З	измученным ванькою — встанькой.
Союз единения	И	зигзаг, перевернутый набок.
Рукастое русское	К	в начале конца, словно крючья.
Вонзилось стеклянное	Л	холодным осколком в ладони.
Смиренным, заброшенным	М	мой дом с провалившейся крышей.
Обломанной лестницей	Н	начало движения в небо.
Живет совершенное	О	одно в заколдованном круге.
В песке колченогое	П	бараком сколоченным наспех.
Развернутым знаменем	Р	на древке, ревушем от ветра.
Спесивое строгое	С	начальник с прямою спиною.
Как знак равновесия	Т	тавром запечатано в тексте.
Торчит кособокое	У	воронкою, воткнутой в землю.
Торговка базарная	Ф	скупая стоит руки в боки.
Мохнатое хищное	Х	клещами вцепилась в бумагу.
Колючее, цепкое	Ц	свой хвост поджимает ехидно.
Алмазным созвездием	Ч	черпает чернильное небо.
Шеренгою по трое	Ш	по плацу бойцы маршируют.
Ползущею щёткою	Щ	с корявой, изогнутой ручкой.
Знак твердый, насупленный	Ъ	повернут назад головою.
Знак мягкий, изнеженный	Ь	на землю уселся уютно.

Тупое мычащее
Во рту обратное
Семейною сценкою
Шагает назад моё

1991

Ы живот упирается в стену.
Э с раздвоенным жалом змеиным.
Ю настырный кружок тащит палку.
Я, алфавит собой замыкая.

Сквозь мёртвой Грамматики город,
В крылатой упряжке спряжений
Глаголы несутся, в которых
Спрессован прообраз движения.

Чуть цокают их окончанья,
Расплющенные удареньем,
Размеренным гулким бренчаньем
В булыжнике улиц осенних.

И месяц прозрачной дугою,
Летит над упряжкой беззвучно.
Он тащит ее за собою
Сквозь каменный город, сквозь тучи.

Въезжают, прижавшись друг к другу,
На небо с хрипеньем тяжелым
Силлабо-тоническим цугом
Мои коренные глаголы.

Февр., 1992

МЕДИТАЦИЯ

В со-служении
и в со-смирении
зарифмованная
лепота.
Ритмолепие речи,
радения,
повторением вслух
высветление
Любословия...
И благодать.

28 февр., 1992

Слова мои — зэки колонной по-трое
Шагают по мёртвой земле на работу,
А сбоку и сзади, как вохра конвоем,
Казённые рифмы в тулупах добротных.

По сгорбленным спинам гуляют приклады:
«Шаг в сторону будет считаться побегом.»
Вдоль вышек с охраной, засыпанных снегом,
Идут оцеплённые в строфы отряды.

Из месива сгорбленных спин, автоматов,
Тулупов, сопенья, собачьего лая,
Слезящихся глаз и хрипящего мата
Порядок в движении слов проступает.

И ритмы сонетов в снегу отбивают
Опухшие зэки ногами из ваты.

27 июня, 1992

Поззия наша
неверболизуема.
Её бессловесные ритмы,
мычание,
размытые образы,
воспоминания,
звучащая память
скользящих сказуемых,
радения русских людей,
причитания,
беззубых шаманов
в ночи завывания
в меня возвращаются
непредсказуемо
подвижными смыслами
древнего знания.

20 окт., 1992

Как мост над одиночеством — стихи.
Жизнь превратилась в буквы на листочках,
в словах овеществленные грехи.
и рифмами остриженные строчки.

В чужую жизнь произнесенных слов
Мой карандаш ныряет наудачу...
Я написал уже пятьсот стихов,
когда вдруг вспомнил, что писать не начал.

13-14 Сент., 1995

АНГЕЛ СЛОВЕСНОСТИ

Видел, как ветер натягивал плёнку
на венценосного купола звон.
Видел, как солнечные перепонки
зашевелились меж тонких колонн.

Как выплывали из чёрных парадных
по тротуарам потоки голов,
и зажигались цветные гирлянды
на облупившихся стенах домов.

Видел, как в небе воскуривал ладан
Ангел Словесности. Поднял глаза
и, усмехнувшись, движением взгляда
бантом сияющий дым завязал...

Как он раскатывал красную тучу,
будто ковёр. Как запел над землёй...
Тело моё было скрипкою, ждущей
прикосновения пальцев его.

Янв., 1996

Пожилой Семиотик
в хитиновом френче,
генерал-адмирал
Грамматической Службы,
с ромбовидною Буквой
Закона в петлице
изучает секретную
прозу доносов.

Перед ним заключенный
Фальшивоцитатчик
ожидает с тоскою
начала допроса.
Корифей всех партийных
лингвистов с портрета
укоризненно смотрит
на лысый затылок.

Два горбатых Ревнителя
Тайных Инструкций,
заложив волосатые
руки за спины,
наблюдая с пристрастием
за заключенным.
Волдыри орденов
воспаленно мерцают.

Вопросительный знак,
перевернутый кверху,
в потолке, словно крюк,
замурован надёжно.
Механизмы для вытяжки
ассоциаций
деловито шуршат
приводными ремнями.

Генерал Семиотик
глаза поднимает.
Занесенные снегом
по крышу бараки
проплывают в зрачках
чёрно-белою лентой.
В кабинете повеяло
холодом лютым.

Словно коршун над тундрой,
кружит Семиотик,
кинокамерой ока
на пленку снимая
трудовую колонию
для осужденных
за хранение ложных
цитат и инструкций.

Раздуваются красные
тряпки на вышках.
У барачков толпятся

костлявые зэки.
Клочья липкого воздуха
с кожи сдирая,
матерятся и лепят
друг другу чернуху.

В медсанчасти покорно
хрипят доходяги,
крысы носятся между
железных кроватей,
дремлет фельдшер из вольных
у печки остывшей...
И сливаются лица
живых и умерших.

Телефонный звонок.
Обрывается пленка
у начальства в зрачках,
и Фальшивоцитатчик
обреченно садится
на стул перед лампой.
Два Ревнителя к стулу
подходят вплотную.
Начинают допрос...

14 мая, 1996

Блуждаю в романе, похожем на город,
где вывески словно названия главок.
Там с бешеной скоростью мчатся сюжеты,
читателей сонных давя без разбора,
и носятся с воем героев оравы,
цепляясь к сюжетам. Мелькают кастеты...

Издерганный автор в цилиндре и фраке
крадется к Развязке с букетом известий,
прижатым к манишке... Он что-то бормочет...
И чёрная трость восклицательным знаком
в конце предложенья из чаплинских жестов
торчит из подтекста среди многоточий...
Блуждаю в романе, похожем на город...

27 авг., 1996

Вылезают из книг человеkestихи.
В них кавычки — крючки оперенья двойного —
ощетинясь, торчат возле каждого слова.

Восклицательных знаков дубинки в сухих
перепончатых лапах зажаты сурово.

Человеkestихи голоса не впадают.
Полукругом садятся на корточки, быстро
разжигают костер. Пляшут острые искры.

Головешки обугленных строчек трещат,
отражаясь все ярче в зрачках студенистых.

Нарастает гудящий молитвенный звук.
И Святая Грамматика в огненной славе,
из костра возникая, становится явью.

В ночь струится кириллица с поднятых рук —
отпущенье грехов человечкам плюгавым.

Перевитые искрами гимны звенят.
И метафорой Божьей, ожившей в народе,
пресвятая Грамматика к небу восходит,

превращаясь в далёкую точку огня.

9-16 Сент., 1996

Я...
ТТТ

Три Твердые Точные Т —
тот мост, по которому **Я**
с частицей живого огня
шагает назад в пустоте.

Вращается нимба кольцо,
над лысиной тихо гудя.
Тяжелые нити дождя
ему оплетают лицо.

Но красный живой огонек
не гаснет в дожде проливном.
И глухо шумит под мостом
просодии мощный поток.

С другой стороны тишины,
из праязыковых болот
процессия гласных ползет
на кладбище следом за ним.

Лежат там в скитах на холме
нетленные мощи святых
букв — Ижицы, Яти, Фиты —
и свет источают во тьме.

Вот **Я**, приносящий огонь,
подходит к подножью холма,

читает отрывок псалма
и в ночь поднимает ладонь.

Проходит двенадцать минут.
Стихает просодии звук.
И гласные строятся в круг,
бормочут молитвы и ждут,

что чудо свершится для них,
и мясом начнут обрастать
Фита, за ней Ижица, Ять,
Восстанут из склепов своих...

И явится Знак в небесах,
Препинанья Великого Знак.

6-7 нояб., 1996

ОБРЫВОК СЦЕНАРИЯ

Поздний вечер. Палата для умалишенных.
Стих в пижаме, расшитой славянскою вязью.
Крупным планом — заноза в мозгу воспаленном.
Мозжечок, размноженный вселенской смазью.
В среднем ухе его чей-то маленький голос
лихорадочно нижезет на рифму цитаты.
Бьётся птица в окне. Стая чёртиков голых
вылезает из тумбочки возле кровати.

Псих в пижаме от боли привычно звереет.
Ключья шерсти растут из его подбородка.
Входит Врач Филологии, весь в панацеях.
Осторожно, боясь расплескать в себе водку,
изучает клиента. С трудом ухмыльнулся.
Из рта на паркет летит жёлтая пена.
По хорею проверив мерцание пульса,
метаморфий вливает в Стиха внутривенно.

Литсестра ассистирует при процедуре.
Мельтешат в худосочных руках инструменты.
Филоложный целитель, брезгливо прищурясь,
острым взглядом проводит в лице пациента,
словно бритвой, крест-накрест, две линии-шрамы
и уходит в себя. На железной кровати
Стихопсих приутих, заиграл желваками.
Люстра звёздная плавно всплывает в палату

для умалишенных от литературы.

29-30 Марта, 1997

Из пустоты Господь построил нас.
Из пустоты, в которой электроны,
запущенные Им во время оно,
ведут свой вечный хоровод сейчас.
И этому круженью электронов
Он дал почувствовать Себя.

Предметы — пальцами... чтоб вспомнить смог
первоначальные названия их...
И отпустив себя на рифмотёк,
писать, что на душу положит Бог, —
объемным, грубым шрифтом для слепых...

И наблюдать, как текст, окаменев,
становится похож на горельеф.

14 Апр., 1997

...и обнажась
до сокровенных мест
покорно залезал
в чужой контекст.

Алле-терировал,
пытался впечатлять,
легко касался
щекотливых тем.
Душа в стихах
вела себя как блядь.
(Метафора моя — Г.М.)

10 Июля, 1997

Закрою глаза и увижу воочью
 клубок голосов посреди пустоты.
В клубке копошатся кричащие клочья,
 и собственный голос уже не найти.
Мой ум, ненадолго зашедший за разум,
 вернулся с охалкой сияющих слов,
еще не успевших оформиться фразой.
 Но сразу значение слов проросло.
В них рвались причинно-случайные связи,
 с вещей осыпалась имен шелуха...
а я все писал, наливаясь экстазом.
 И это была голограмма стиха.

23 Авг., 1997

...начать и кончить новым многоточьем...
...привычно изогнувшись над бумагой
в квартире коммунальной поздней ночью
раскладывать пинцетиком по строчкам
граненые словечки, словно скряга,
подрагивая жилкою височной...

3 окт., 1997

Огород неизящной словесности. Пучатся
в унавоженной почве плоды просвещения.
Посредине торчит этот стих мой как чучело,
чтоб пугать любопытных. Метафор свечение
завываньем волков за забором озвучено.

Огородоблюститель, от старости скрюченный,
ядовитые буквицы рвет с наслаждением,
копошатся в разинутом рту заклинания...
Терпеливые хищники с красными рожами
наблюдают блюстителя на расстоянии.

Ночь пропитана тленьем насквозь... Для чего же я
снова вытащил эту картинку из памяти?
Для чего я полез со своими стихами-то
да в чужой огород, где на грядках разложены
тени тех, кого нет?... И увешанный знаками
крючковатых вопросов, клочками бессонницы
я здесь жду, по колено в земле унавоженной,
что Господь Авраама, Исаака, Иакова
до бедра моего наконец-то дотронется?

Янв., 1998

Скособочились домики строф
Посредине листа, и пророс
дым из труб в пелену облаков.
Свет горит, но не видно жильцов...
Только тощий, ободранный пес
с визгом носится между домов...

Многоточье в бумажных полях,
как собачья моча на снегу —
ведь для бешеного кобеля
даже сто километров не круг...
лишь бы только оставить свой след,
лишь бы кто-нибудь принял всерьёз...

Если в этом и есть — весь ответ,
то какой на него был вопрос?

Февр., 1998

Комментарий к еще
ненаписанной книге,
где в суконной материи
русского текста
с подоплекою красной,
Герой Многоликий
задыхается, не
находя себе места.

А в полях собирают
цветы командиры.
Напевая похабные
песни сквозь зубы,
прижимают букеты
к хрустящим мундирам
и вздыхают задумчиво:
«любит? — не любит?»

Баянист с чувашинной
мордовою звенков
по дороге разрытой
шагает вприплясок,
на стегно положив
две руки вздоровенных.
И несут хлеб да соль
люди разных заквасок.

На пригорке стоит
землепашец могучий.
Борода гладит ветер.
Плывут поцелуи
Из пунцового рта
и взрываются в тучах.
Упыри над его
головой озоруют...

В чёрной щелочке между
рождением и смертью
Многоликий зрачками
беспомощно вертит,
с головы его фразы
свисают как слизи...

Комментарий к еще
незаконченной жизни —
пояснение в виде
лубочных картинок,
для наглядности собранных
здесь воедино.

21-23 марта, 1998

И мне примнилось: кто-то ушлый
у двери мнётся, наострив
как кошка ушки на макушке.
Течёт слюной речитатив,
в зубах фонемы нежной тушка.
Но этот ушлый — важный очень,
и он на мне сосредоточен.
А может это А.С. Пушкин?
А может Лермонтов М.Ю.?
Он гениальной головой
качает, что-то мне мычит.
Он хочет в жизнь мою войти
метафорой стиха живой.
Но я ему не отворю.

10-11 Мая, 1998

Двустворчатый Домик Хореев
раскроет дощатые двери
и выскочит птица колибри,
как стих с перебитым крылом.
В сияющем клюве эпиграф
повиснетверху над листом,
усыпанном густо значками.
И, если всмотреться, то в нём
услышишь, как звук возникает —
как, старческими голосами
друг друга касаясь едва,
нестройно псалмы распевают
и молятся Слову слова.

Июль, 1998

Квадратизчёрных слов. Квадрат
из слов, написанных подряд,
шагающих, как на парад,
в закат — на Божий вертоград.
Солдаты лет под пятьдесят,
неразличимые на взгляд,
в закат шагают и молчат —
последний штурмовой отряд.
Квадратизчёрныхслов. Квадрат.

Янв., 2000

Бревенчатый сруб на холме окружён
лужайкой, заросшей травой голубой.
Четыре утра. День рожденья имён.

Сцепившись порукою рифм круговую,
на длинных скамьях восседают слова
в надвинутых шапках. Размазаны лица.
Из стрельчатых окон по стенам сочится
дрожащая утренняя синева.

Стекает по ватникам, вниз с рукавов
на пол деревянный. Там, в лужицах ночи
полощутся радуги в свете проточном.

Восходят носы над провалами ртов.
И гул нарастает. Мельканье страниц.

В глазах, словно петли обмотанных плотно
пушистыми нитками чёрных ресниц,
зажглись ободки золотые, и сотни
глухих голосов заполняют избу.

Радение *Живоязычников* — ими
ещё языки остаются живыми,
вещей имена обретают судьбу.

Снаружи, столпившись у входа, ревут
огромные туши пока безымянных.

Мычат и, беременные ожиданием,
покорно жуют голубую траву.
Глядят на помост, разукрашенный весь
сплетёнными лилиями полевыми.

Здесь вечером будут венчаться на Имя
глагол и ему наречённая вещь.

А в небе три ангела русских созвучий,
крылами шурша, патрулируют тучи.

Сент., 2000

Сарай-общезитие. Бывший колхозный коровник.
Теперь в нём живут позабытые Богом слова.
Два длинных, худых мужика на растопку дрова,
склонясь над поленицей рифм, выбирают любовно.
И мама-кириллица с выводком букв неуёмных
по зёрнышку русскую речь собирает в росе
у них под ногами и квохчет: «живём снова...».

В прищепках кавычек на чёрных верёвочных строчках
ритмично цитаты качаются — в полной красе
здесь жизни исподнее на обозрение всем:
бельишко, пелёнки... Костлявая баба бормочет
молитвы на фене и мечется между пелёнок,
цветною слюной на губах пузырится мольба.
Пятно набухает на северо-западе лба,
и в каждом глазу по четыре зрачка воспалённых
вращаются в разные стороны, грозно сияя.

За бабою к лесу цепочкой идут тополя.
Копчёный лосось колосится в осенних полях.
И на паровозах коровы летят над сараем...

На этом кончается наш репортаж о стране
забытых метафор. Он был подготовлен Г. Марком
как первая часть сериала «О Том, Чего Нет».
(Надеюсь, в отделе стихов повивальный редактор
его напечатает весь. Это будет подарком
не только друзьям-словофилам, но также и мне.)

Март, 2001

Три семистрочия о стиховычитаньи* —
искусстве вычитания живого
из мёртвых текстов и воспоминаний.
Вычитывать и вычитать себя,
чтоб не навязывать другим ни слова,
но превратить «лирическое я»
в ожившую фигуру умолчания.

Убрать предлоги, знаки препинания,
склонения, союзы, падежи,
свисающие набок окончанья,
просодии, рифмованный соблазн
поющих гласных... и потом, в тиши,
услышать шум толпы, её дыханье.
И осознать, что ты, как все, *бзглсн*.

Ожившие фигуры умолчания
плывут, как миражи в пустыне. Лица,
подкрашенные красною гуашью,
блестят от пота под прозрачной тканью
материи первичной. Словно спицы
мелькают взгляды, расплетая пряжу.
А впереди столп огненный струится.

Май 2001

* Слово «стиховычитание» автор вычитал в одной из работ М. Эпштейна.

СО-ГЛАСОВАНИЕ

Языком подправляя
согласные, прочно
их слюною скрепить.
Чтоб шершавые грани
обкатались во рту,
создавая звучанье,
чтобы *вы-дохновеньем*
наполнилась строчка.

Оправдание жизни —
слова. Сердцевина.
Важно *со-*гласование,
их расстановка
друг за другом, как цифр
на ценах в витрине.
Нанизать на дыханье:
найти огласовку,

чтобы речитатив,
отделившись от тела,
смог *прижизниться*,
выплыть в просодии к свету,
чтоб внизу, в глубине
мощным хором запели
миллионы телец
кровяных, и при этом

чтобы гласные лились
цветными ручьями,
деловито шныряли в них
юркие стаи
запятых-головастиков
между камнями...
И плескались младенцы,
словами играя.

5-6 Нояб., 2002

И тогда перед мысленным слухом возник
оживающий знак смутных смыслов-звучаний —
словно блудное слово вернулось язык
позабывшим названием для покаянья.

Это блудное слово, с родными словами
взявшись за руки в длинную фразу, стояло
с перевёрнутым ртом и молилось упрямо
над дырой-алтарём в центре круглого зала.

Его тело во тьме проступало всё резче.
и дыра перед ним была чёрной воронкой.
Потерявшие форму старинные вещи
из открытого купола струйкою тонкой

сквозь воронку стекали, в стихи превращаясь.
И сиял шарик музыки в облаке лунном —
там в скрещенье прожекторов ангелов стая
воспевала стихи на расслабленных струнах.

9-10 июня, 2003

В чашах слов, прорастающих медленным смыслом,
где, как ноты, валяются клочья железа,
и впиваются в музыку ржавые числа,
бродят с рёвом стада одичавших поэзий.

Среди острых кустов, среди сучьев поющих,
россыпь красных следов далеко за собою
оставляя в траве, продираясь сквозь гущу
леса тёмных метафор, бредут к водопою.

Кожей содранной тускло блестя в лунном свете,
набухают тяжёлым сияньем тела их.
Пересыпанный треском кустарника, ветер
над заросшим простором их рёв расстиляет...

Ни зрителей нет, ни читателей, ждущих
дрессированных трюков от слов безимянных.
Следопыты и воры войдут в эти кущи,
но поэзии дикие речью не станут.

7-8 Авг., 2004

В темноте этой книги,
за строем глухих
закорючек, застывших
в молчаньи суровом,
шевелилась личинка
поющего слова,
истекая звучаньем
трёх гласных своих.

И я знал, стоит взглядом
по ней провести,
она вырвется. С шумом
вспорхнёт из страницы,
не успев ещё полностью
переродиться.
На секунду зажму
её в потной горсти,

а потом отпущу.
Заскользят по лицу
золотистые крылышки
с россыпью точек,
и с живыми прожилками
вырванных строчек,
на глаза осыпая
цветную пыльцу...

Будет страшно и весело...
Из темноты
прорастёт их кружение
новой былью,
хрупким кружевом
лунного света и крыльев
на лице у меня...
Надо только б найти...

Если б только найти...
Но не будет дано
отыскать между строчек
личинку-частицу
светоносного кружева.
Эту страницу
в книге жизни моей
кто-то вырвал давно.

2017

В РАСПЛАСТАННОМ ГОРОДЕ ВРЕМЯ ЗАСТЫЛО



ОСЕННИЕ ПОВЕРЬЯ

Плывут над городом осенние поверья.
Антенны с крыш сгоняют их со свистом.
Стихи, поеживаясь, шепчутся в деревьях,
Старательно пытаются присниться...

Поверья, ставшие наивными стихами,
Шуршат в листве одеждою промокшей,
Плывут холодными осенними дождями,
Заглядывают робко в чьи-то окна...

Плывут поверья над языческой страной...

Седые люди, всё забыв на белом свете,
Весь вечер обсуждают зло в природе.
И прокурор, вздохнув, отряхивает пепел
На блюдце с недоеденным пирожным...

Выходят женщины из теплоты постелей,
Привычно ищут белые окурки,
И кто-то сгорбившись читает неумело
Наивные стихи на грязной кухне...

Но неба свиток приоткрыт до середины...

От ветра дрожали витрины тревожно.
Подъезды в домах раздувались гармошкой.
Проплыл вдоль по рельсам трамвай, как застёжка
на молнии, и расстегнул осторожно

асфальт на Земле. Оглушительно тихо
вдруг стало кругом. И тогда я услышал,
как каждой отдельной травинкою дышит
Земля. И зелёная неразбериха

полезла наружу, асфальт распирая.
В ней тонут витрины, подъезды, трамваи.
Струится по улицам масса живая —
весь город зелёный потоп заливает.

1987

ГОРОДСКОЕ ЛЕТО

Вниз катится солнце с расплавленной крыши
В шершавый асфальт апельсиновым шаром.
И дворники тихо скребутся, как мыши —
Осколками солнца скоблят тротуары.

На площади сонной дома замирают,
Укутавшись в запахи теплого супа.
Машины, кряхтя, уползают в сарай.
Седой человек вниз уставился тупо.

И благословляет машины с балкона,
Язычник в подтяжках, довольный собою.
А солнце над ним, словно нимб воспаленный,
Расплющенный нимб над седой головою.

Мелодия, словно изгнание, длинная,
Клубками блестящими в рельсы свивается,
Мой дом — чёрный кокон — обвит паутиною
Из музыки мокрой и рельсов сверкающих.
На рельсы нанизаны знаками нотными,
Пунктирною линией блики качаются.
Как трубы органа, гудят подворотни,
Сквозь ветер литаврами крыши взрываются.
Дождь пробует клавиши труб водосточных,
Кривляется, прыгает с места на место,
Целует нас в губы, по крышам грохочет
И вдруг рассыпается целым оркестром.
На звуках качается пеною площадь,
И в пене раскинув блестящие руки,
Дирижирует в городом Регулировщик,
В дома рассылает цепочками звуки.

ВУДУ

В пыльном городе ласковый Грех
Ночью шепчется с выпившим дворником.
В подворотне, тайком ото всех
Мне выносят свой приговор они.

В пыльной комнате ласковый Грех
Со стола берёт куклу знакомую,
Поднимает за шею наверх
И гвоздем протыкает лицо моё.

В пыльном зеркале ласковый Грех...

Ldjh pfhfcnfth nhsy-nhfdjq.
F vyt jcnfkjcm
rktqvj yf gfvznb ;bdjq —
nfrfz vfkjcnm.
1989

Газетой измятой
по спинам покорных
людей, проплывающих в гейзерах пара,
кусочками неба,
клочками бумаги,
кричащим овалом лица на витрине,
голодную стаей
машин пучеглазых —
в кружение туго закрученных улиц,
в могучую плавность
потокaв асфальта.
В движенье вещей, не имеющих цели.

Прожектор лицо освещает на сцене.
Скользнул по плечам и упёрся в живот.
На пол шелухой осыпаются тени,
И вкрадчивый голос над залом плывёт.

Прозрачным становится тело певицы,
Погасли глаза, исчезает лицо,
И видно, как в бедрах её шевелится
Набухшая сперма от разных отцов.

Как белые, хищные рыбы струится...

Миллионами мутных жемчужин
Россыпь капель в асфальте блестит.
Распускаются медленно лужи,
В них плывут облака и цветы.

Под мазутною плёнкой сквозь воду
Лес тропический к небу растёт.
И слоновьи стада пешеходов
Топчут стебли всю ночь напролет.

1 окт., 1991

В колодце двора снуют люди, как мыши.
Машины журчат в гараже за углом.
У дома напротив вся выгнулась крыша
Сиамскою кошкою перед прыжком.

Сквозь ночь ошестинившись шерстью антенной,
Сверкающий хвост распрямила трубой.
Шипит чердаками, косится на стены,
Дрожит изгибается чёрной дугой.

А люди продукты к себе в норы тащат,
С кульками в руках деловито снуют.
Сиамская кошка со стиснутой пастью
Хрипит. Поджидает добычу свою.

1991

В конце концов
Глаза отцов
Как сотня солнц
Взойдут в ночи.
В мое лицо
Сплетут лучи
Глаза отцов
В конце концов.
В конце концов
Пунцовый снег...
Мое лицо
Птенцом в окне...
В конце концов,
В конце концов...

Площадь дышит натужно, стекает асфальтовый зной.
Вертикальные чёточки спицей от зноя качаются,
В зыбком небе, каймой горизонт оторочив двойной.

Сквозь набухшее марево чёрною точкой смешной,
Отделяясь от тела, моя голова поднимается,
Словно шарик воздушный уносит горячей волной.

Солнце в площади плещется жёлтой густой пеленой.
Безголовое тело на нитке, как кукла болтается,
Отражаясь в зеркальном асфальте, внизу подо мной.

И уже осторожно кто-то трогает нить...

Июнь, 1992

Где-то в небе прозрачный рейсфедер
Ретуширует дождиком ватман,
И деревьев зелёные сферы
Расплываются в блёклые пятна.
Набухающий центр акварели,
Словно след от застывшего взрыва.
И повисли осколки шрапнели,
Как пунктирная ось перспективы.
Ватман, вставленный в раму окошка, —
Аккуратный прообраз природы.
Дождь штрихует за домом дорожку
И на ней силуэт пешехода,
Провода над его головою,
И заметно уже еле-еле
За завесой сплошной дождевою
Чья-то подпись в углу акварели.

ЗАВОЕВАТЕЛИ

Стократно повторенным телом,
Обернутым серою тканью,
Шагают, прижавшись друг к другу
Косою безглазой шеренгой.

Брусчатка поёт под ногами,
Срастаются наглухо плечи:
Стоглавая гидра, качаясь,
Шевелится между домами.

Дома зарываются в землю,
Из стен водосточные трубы
Ползут, извиваясь от страха,
И падают птицы с карнизов.

Шпиль Церкви покорно согнулся,
И лик чудотворной иконы
Кровавыми вспыхнул слезами
Но это никто не увидел.

Изъедены камни брусчатки
Дождем ядовитого пота,
В лучах заходящего солнца
Сквозь город проходит колонна.

Верблюжьи угрюмые лица
Закинуты в твердое небо,

И хищные ноздри синхронно
Дрожат над квадратными ртами.

Тяжелым, замученным криком
Дорогу себе расчищая
Уходит на Запад колонна,
Заглатывая пешеходов.

НА СТАРТЕ

Членистоногий человек в заклёпках,
с зажатым мотоциклом между ног.
Прозрачный шар над черепной коробкой.
Лучи сплелись на шаре, как венок.

Урчит мотора хищная утроба.
Полощет блики гнутых трубок сталь.
В седле из кожи ошалевший робот
раздвоенным копытом жмёт педаль.

Обнюхивая воздух фарой мутной,
ревёт машина, прямо под собой
наделав кучу грязи и мазута,
газ выпускает выхлопной трубой.

Вокруг толпа угрюмая возникла.
Стекает небосвод ручьями звёзд.
Прозрачный шар висит над мотоциклом,
и в нём, как камень, — чёрный, мёртвый мозг.

28-30 Июля, 1993

Глазницы размытые окон
от едкого дыма гноятся.
На дне их блестят воспалённо
набухшие лампочки-слезы.
Чиновников чёрных потоки
из каменных зданий струятся,
как будто из жил отворённых
тяжелою кровью венозной.

Торчат фонари словно гвозди,
забитые в толщу асфальта.
В клубах ядовитого пара
расплавился мой позвоночник:
текут, истончаются кости,
и капают жёлтые пальцы
с шипением сквозь тротуары,
в родную болотную почву.

Над крышею туча свернулась
огромной сияющей плетью.
И город, хрипящий дворами,
тасует фигурки прохожих
в белесых расщелинах улиц.
А я успеваю заметить,
как слово «озноб» пузырьками
всплывает под плёнкою кожи.

5-6 мая, 1996

СВЕРХУ

Весь город — как текст, как посланье,
где в набранных густо, подряд
кварталах — параграфах зданий —
вкрапленья античных цитат.

Но фраза из камня одна,
в слова не сумев воплотиться,
блуждает в мозгу у меня
как сон, не нашедший сновидца.

12 Окт., 1996

Железное кладбище крыши.
Антенны стоят как кресты,
от ветра совсем покосившись.
Дождь капает из пустоты.
Ограда луною облита —
сосулек сияющих ряд.
За ней, как надгробные плиты,
кирпичные трубы торчат.
Покойников птицы склевали,
все надписи смыло водой...
А я, мой хороший, в подвале —
здесь, с кладбищем над головой —
верчусь, как шаман возле строчек...
И ветер железом грохочет.

20 янв., 1997

Неспешно размышляя о судьбе,
о том, что слов становится все меньше,
сидеть у дома и смотреть на женщин,
и улыбаться ласково себе.

Опять подъезде каблуки стучат
по ксилофону лестничных ступеней.
И проступают ниточки дождя
в подмоченных небесных гобеленах.

Ползет громада тучи, как уют,
разглаживая складки синей ткани,
и с края её сыплется сиянье,
высвечивает улицу вокруг.

Ручей голов из скважины метро,
переливаясь лицами, сочится
по мостовой, покрытой серебром
промокшей пыли. И щебечут птицы.

А вот ещё из жизни здешней:
Раз после трудового дня
по пустырю, во тьме крошечной
я шел пешком и вдруг опешил:
в дрожащем диске из огня
змея качалась, разомлевши,
над чёрной вазой аптечной.
Потом скосила на меня
глаза, в которых прыгал свет,
и вазу обняла... Мне вечно
мерещится какой-то бред.

1 июня, 1997

Ночью трубы вздуваются
на мостовых под дождём —
варикозные вены
Живущего в Толще Болот.
Его тело растёт
в темноте все быстрее с каждым днём.
Приближается время:
он встанет и город стряхнёт.

14 авг., 1997

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Если голову вбок повернуть до предела,
горизонт, вертикально поднявшись в тумане,
превращается в зубчатый край океана,
и деревья, воткнутые в берег, как стрелы,
начинают дрожать опереньем колючим.
Вдоль деревьев ползут вертикально трамваи,
колокольня, над краем небесным сгибаясь,
удит шпилем на крестик ленивые тучи,
над землёю висят груды домиков белых...

Там прозрачная тяжесть из твёрдых предметов
вытекает по капле сквозь воздух нагретый, —
если голову вбок повернуть до предела.

3-4 Янв. 1999

Я видел: человечек с метр ростом
в зелёной шляпе с фетровым лицом
стоит под фонарём на перекрёстке
в далёком городе, и пятна оспы
шевелиются как чешуя, как блёстки
в лице его под проливным дождём.

Глаза пустые, чёрные как уголь,
как антрацит, но теплится огонь
в их глубине. И медленно, с натугой
сочится с губ бессмысленная ругань.
Дубинка полосатая упруго
постукивает в мокрую ладонь.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Подвал искусств. На отсыревших стенках
полотнища прилеплены вплотную.
Переливаясь грязью всех оттенков,
из рам стекают масляные струи.

За столиком, в чалме из никотина,
сидит художник, в пустоту гундося.
Он водит мутным взглядом по картинам,
по рюмкам с тёплой водкой на подносе...

Вокруг снуют безликие мужчины.
Под кожей нейлоновых сорочек
тела гудят, как гибкие машины,
в них мёртвая энергия клокочет.

Там двигатели внутренних сгораний,
работая на чистом алкоголе,
их языки приводят в состоянье
вращения непрерывного; глаголы,

со скрежетом цепляясь друг за друга
и лязгая изжёванным металлом,
передают движение по кругу...
и жжёной серой тянет из подвала.

Апр., 1999

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ

Вид города с неба. Кусок панорамы,
похожий на стол, весь заваленный хламом.

Глаз камеры движется книзу. В зелёной,
распахнутой настёж тетради газона
скамья — словно равенства знак между нами,
сидящими врозь с приоткрытыми ртами,
но соединёнными длинной дугою
из жалоб твоих. С двух сторон над скамьёю
на радугу жалоб нанизаны лица.
Зрачок, отражаясь в зрачке, чуть двоится.

Мы плавно сближаемся. Шар чёрно-белый
на месте голов возникает: два тела,
в одно превращаясь, взмывают над парком.
Секунду висят и взрываются ярко.
Осколками слов разлетаются фразы,
и наши тела в зелень падают сразу.
Толпа собирается. Люди в костюмах
стоят полукругом и смотрят угрюмо.

Как горн, в тишине наступившей тягуче
мычит на корову похожая туча.
И, пятясь вперёд, мы из кадра выходим.
Мутнеет глаз камеры. Слез половодье
картинку с тетради газона смывает.
В экране полощется масса живая.

В ней наша скамейка всплывает упрямо —
знак равенства между пустыми местами.

23 — 24 Июля, 1999

Военный храм. Внутри колонн ракеты.
Танк в алтаре замазан белой краской.
Все прихожане в штатском, но при этом
на головах надраенные каски.

Честь отдавая небу под разрывы
снарядов в репродукторах настенных,
выпячивают груди горделиво.
Струятся слёзы. И устав военный
молитвою надрывною восходит
под тёмный купол, в горельефы пыли.

Вдоль стен охрана с ружьями на взводе.
В тяжелой, золотой епитрахили
из танка вылезает Маршал Церкви.
Благословляет крововерных в храме.
И витражи застывшим фейерверком
по случаю победы над врагами
со всех сторон сияют нестерпимо.

Курсант из бункера хоругвь выносит.
Над древком изогнулась струйка дыма.
В прогнившем шёлке спелые колосья,
серпы и молоты шевелятся тревожно.
Глаза курсанта набухают ртутью.

Великий Маршал Церкви осторожно
в сосуд из меди окунает прутья.

Святою смесью крови, слёз и пота
кропит хоругвь, простреленную пулей.

В большом экране, прямо над киотом,
жилой массив прочерчен сеткой улиц.

И чёрный крестик движется на цель.

13 — 14 Апр., 2000

Распахнуты двери в Больших Теоремах.
Мерцают из мрака проёмов лепными
изгибами бледно-зелёные леммы,
сплетённые символы, формул волокна
и мнимые числа... Повсюду над ними
торчат Неизменные Сущности в окнах;
пустыми зрачками сияют надменно,
в пространство уставившись мысленным взором.

Обитые бархатом жёлтым, кареты
стоят неподвижно. Их тени на стенах
рассыпаны, словно резные узоры.
И гривы коней шевелятся от ветра,
всплывая над спинами чёрною пеной.
Храпят кучера, развалившись на козлах.
Надвинуты шапки на брови, и грозно
носы их горбатые к небу воздеты.

Пунктиром расставлены вдоль парапета
скульптуры, похожие на интегралы, —
фигуры наставников. К бронзовым бочкам
цепными дробями прикованы прочно
крылатые цифры. И на пьедесталах,
натёртых десятками тысяч ладоней,
сентенции золотом — длинные строчки
записанных в камне цитат из Платона.

В распластанном городе время застыло.
Лишь в старенькой лодке слепой математик
к заливу плывёт по реке доказательств.
И солнце стекает на лысый затылок.

Февр., 2001

Расстелив на крыше тень
тучи войлочной, сечёт
ветер розгами антенн
небо нежное. Со стен
синева, как кровь, течёт.

Строй кирпичных труб притих,
и от страха чёрный газ
валит из стволов пустых.
А напротив хитрый стих
(тот, что пишется сейчас),

весь бессмертный как Кашей,
ум свой вперивши в стекло,
втуне, всуе и вотще
постигает ритм вещей.
В черепной коробке Зло

загорелось. Стих стоит,
опираясь на протез.
И такой у него вид,
словно *он* руководит
экзекуцией небес.

28 Нояб., 2002

И увидишь: как влажная суть облаков
сквозь небесную марлю стекает ручьями
и сгущается в тёмное между домов,
как, царапая нежное брюхо о раму,
ночь в квадрат заползает оконный, и как
в её теле мерцают набухшие звёзды,
как ползёт вдоль стены, огибает косяк,
и кусок темноты, зацепившись за гвоздик,
превращается в старый отцовский пиджак,
в нём растут рукава, поднимаются в воздух
и благословляют того, кто увидел.

И услышишь: как гул нарастает пространственный,
это сонмы сомнамбул-метафор в прострации,
монотонно поют голосами бесстрастными,
рукава дирижируют хором, и в пении
возникают аллюзии и коннотации,
проступают коллизии, аллитерации,
в них сомнамбулы с трепетным тщаньем-терпением
выпевают звучанье вещей резонансное,
ассосонансами смутными и консонансами
и благословляют того, кто услышал.

Март, 1998 — Апр., 2003

В СУДЕ

Соитие ревнителей юстиций,
неистовых юристов при Законе
в прологе многоактной мелодрамы,
где жилистые юркие истицы
кого-то обличают исступлённо,
стучат в сухие груди кулаками.

Там маленькое, злое эхо бьётся,
полощутся трепещущие флаги.
Истицы обвиняют. В каждой фразе
испуганные истины-уродцы
под слабое шуршание бумаги
рождаются из криков, чтобы сразу

свидетелями стать и деловито
дыханье испустить через минуту,
ни слова не промолвив перед смертью,
а служащие в форме ядовитой
по жёлтым коридорам унесут их
в огромных запечатанных конвертах.

И люди-судьи в чёрных балахонах
с зияющими лицами устало
творят несправедливость в душных залах,
выносят приговоры обвинённым,
вину распределяя как попало...
Я вытасчен стоять перед Законом.

Истица сумасшедшая, в экстазе
захлёбываясь, требует расплаты
за всё, что мной не сделано на свете.
Я медленно озвучиваю фразы
наёмного суфлёра-адвоката.
Ответчик я. Мне нечего ответить.

7-9 дек., 2004

Петух, запряжённый в оглоблю,
увитую сотней свечений,
по городу тащит повозку
к дворцу губернатора ночью.
В домах просыпаются тени
испуганных птиц и растений.
И в спальнях, набухших хрипением,
цветы на обоях бормочут.

Прихрамывая и моргая
глазницами мокрыми окон
во тьме небоскрёбы бесшумно
за светлой повозкой шагают.
Зазубренный гребень откинув,
трёхпалый Петух, кривобокий,
на холм, где маяк был*, вступает.
Стеклянная хищная стая

за ним поднимается следом,
и слышно, как — слово за словом —
шныряет по комнатам шопот.
В тяжёлое золото с треском
впивается клюв петушиный.
Над городом купол дворцовый,

* Холм, где был маяк (Beacon Hill), — район Бостона, в котором расположен дворец губернатора. Купол губернаторского дворца выложен золотом. Перед дворцом маленький сад, ограждённый решёткой.

как грецкий орех раскололся,
стал грудой тёмного блеска.

Стеклянные башни садятся
у ног Петуха полукругом.
Хор струнных гудит над повозкой,
вплетаются в жёлтые звёзды.
Жонглирует тенями ветер.
Со скрежетом бронзовый флюгер
над Северной Церковью* бьётся,
и тлеет над флюгером воздух.

Из недр небоскрёбов выходят
невзрачные чёрные люди
Затянуты плёнкой глаза их,
и хохот, как скользкие камни,
катается под языками.
Расправив костлявые груди
в ночь вытянув шеи, взлетают.
Над городом носятся плавно.

И ищут добычу. Кружатся
с жужжаньем прозрачные уши.
Сачки шелестят, как знамёна,
в ладонях, горячих и влажных.

* **Северная Церковь (Old North Church) — старейшая церковь в Бостоне. Расположена рядом с губернаторским дворцом. Шпиль её заканчивается флюгером в виде чёрного, бронзового петуха.

Крылатые чёрные люди
воруют у спящих их души
и с грузом своим драгоценным
назад возвращаются в башни.

Они проникают повсюду.
Откуда ты знаешь? Возможно,
они за тобой наблюдают,
кружатся сейчас над постелью
и ждут.

Нет, одно только ясно —
во сне надо быть осторожным,
не спать глубоко, за душою
следить и держать её в теле.

.....

Под утро шагают неслышно
по крышам с холма к океану
Петух, запряжённый в оглоблю,
незрячие чёрные люди,
набитые краденым башни.
Они исчезают в тумане —
там, где-то в невидимом мире
свой час поджидать они будут.

На самом краю океана
рассвет раздвигает потёмки.
Их время, во тьме развернувшись,
со свистом несётся обратно.

Сквозь сон проступающей явью
дворец восстаёт из обломков,
срастается купол. От солнца
на золоте первые пятна.

В саду за дворцовой решёткой
голодный изломанный хобот
подъёмного крана проснулся
и начал заглатывать землю.
Все новости дня на английском
долдонит за стенкою робот.
А ты после ночи бессонной
под звук телевизора дремлешь,

присматривая за душою...

22 — 28 Марта, 2010

Раздвигает созвездья
над городом ветер.
Тьма стекает в расщелины
между домами.
В глубине раздаются
глухие удары.

Это звон колокольный
блуждающим эхом
вдоль по каменным улицам
сонных предместий
слепо тычется в стены,
колотится в двери.

Геометрия длинных
безжизненных линий,
где в растворе сгустившейся
тьмы незаметно
оседают кристаллики
жёлтого света,

освещаются окна,
в них детские лица...

28 Июня, 2019

СВОИМИ СЛОВАМИ



ПЬЕСА В ТРЕХ ПАРАХ

Вся сцена в актерах: три пары в гостиной.
Панталык с Ахинеей в веночках из лавра,
На диване сопят Людодей с Инсультиной
А в углу перепутались Абра с Кадавром.

Панталык гы!гы!монится матерно,
Ахиней трендит похабеляками,
Ухайдокавшись в хлам, телебенькают,
До отвала наевшись мыслятины.

Сцепившись болталами Абра с Кадавром,
Нетленку гундосят, гугниво елозя,
Как либидоносные сперматозавры
В оргазмообразном апофигеозе.

С Инсультинкой своей гулеванит
Бедокур-Людодей чёрнокурый.
Пишет ижицу ей на диване,
Забуровившись в хлам поллитурой.

Входит Некто.Обводит разнузданным взглядом
Присмирившую публику, басом икает.
Надевает пенсне и, прищурясь, читает
Со значительной минной шифровку из ада.

Это длится минуту. И сцена тускнеет.
Исчезают оргазмообразная Абра,
Панталык, ухайдаканная Ахинея,
Пристихованный к Абре либидный Кадаврик...

Пустота поглощает актеров в гостиной

5-10 апр., 1992

ОТМЕНЯТИНА О ИСАВИАКОВЕ

От Григория Марка — *бумаггомаракки* —
Спозапянку, на смыслогранице юродства
Стих — Григорию Либидоносцу — на фене!
Сублимься в анапестах. Исавовы знаки,
Мудалых, долбоятельных фраз мельтешение —
Виршевичной похлебкою — за словородство.

8 дек., 1992

СЛОВО О СЛОВЕ

Недозаумь на смыслопогранке;
аще слово хотяще творити,
запендюришь с оттяжкой полбанки
и начнешь свое песнесоитье.

Да чернуху залепишь сразмаху
лживотворно, чай не по-Бояньи,
громку славу себе рокотаху
ежесловенным совокупаньем.

Растекашется зелье по чреву,
брзья кони заржут за Сулою,
зело Ярая Славная дева
аки зигзица, в облацы взмоет.

И в поход покундѣхает войско
в Половецкую — Русскую землю
Будут биться Яр-Туры геройски.
Но и бесовы дети не дремлют.

Ох нелепо, не лепо ведь братья,
ради чти да проклятых половчих,
забуйтурясь, войну начинать.
Ить потопчут хоробрых, потопчут!

Громомолнии в тучах заблещут.
Красной кровью набухнет Каяла.

Солнце мглою затмится зловещей,
но поляжет поганых немало.

Будут волци грызть русские кости,
в дольном Киеве жонки завоют,
половню станут клясть да чехвостить.
и бояре зальют ретивое.

Да по црьквам костистые девки
зарычат про замызганный грязью
пресвященный хорюговь на древке,
в половецком плену, купно с Князем.

В дребадан накумысятся гады,
Князь забудется смертной истомой.
Но вотще их смердятная радость —
Инда сокола унасекомишь?

Ить уйдет Святослаич на волю,
между спящих поганых прокравшись...
И зарыщут зверьем в чистом поле
Гза-Кончак несолонохлебавши.

Яр-буй-тур, пестер-кречете — сокол,
Игорь-свет побежит горностаем
белым гоголем в реках глубоких,
шизым волком в степи поскакает,

Прискакает на Русь величаво
головою воссядет на плечи.

Всем князьям Святослаичам — слава,
и — хана хановьям половечьим!

.....

Эту летопись славы и горя
записал во Бояново имя
озорующий старец Григорий,
словесами, однако, своими.

24 авг., — 1 сент., 1993



Вернусь иностранцем к себе в коммуналку.
Всё то же кирпичное, чёрное мясо
Лоснится в обглоданных временем балках,
И лампочка светит в углу безучастно.

А где-то у вешалки, в грязной прихожей,
Вверху, в отороченных пылью обоях,
Свисающих заживо содранной кожей,
Я в треснувшем зеркале встречу с собою...

1990

Освещённая ярко аптека
В самом центре земной темноты.
Ни души. Только мягко мерцают
Склянки с ядами, и за прилавком,
Как в созвездии Фармокопеи,
Белой тушей провизор в пенсне,
Чуть похожий на Берию. Нежно
Гладит склянки. Скрипит портупея
Под душистым крахмальным халатом.
И дрожат накладные усы.

Он стоит, отражаясь в прилавке:
Поджидает меня терпеливо
ночь за ночью. Одиннадцать лет.

25 февр., 1992

МОСКОВСКИЕ ИГРЫ

Всё лето страна торговала.
Всё первое лето свободы
Начальство на деньги с народом
Краплёной колодой играло.

В провинциях бывших порою
Шли мелкие стычки и войны,
Но в центре всё было спокойно.
Москва задышалась от зноя.

И всё бесконечное лето
Пасьянсы раскладывал город
Из бывших тузов, их шестерок,
Из мелких партийных валетов.

Тянулся, зажмурившись, в небо
Дряхлеющий дом министерства
С припудренным пылью, имперским
Увитым колосьями гербом.

Мерцал чешуёю оконной,
Заглатывал чьи-то проклятья,
Урча, словно чревовещатель
Своею утробой бездонной.

И дверь, будто шулер, вертелась,
Сдавая на площадь привычно

Фигурки в очках заграничных —
Колоду дельцов очумелых.

По самому крупному счету
В то первое лето свободы
Начальство на деньги с народом
Играло краплёной колодой.
И ставки удваивал кто-то.

31 июля — 7 авг., 1992

Двойник мой, бостонский профессор,
Живет среди скрюченных формул.
Не смыслит в стихах не бельмеса,
Но что-то все пишет упорно.

Одна дневниковая запись,
За строчкою тянется строчка.
Цветёт между формул анапест
В разбросанных белых листочках.

А в это же самое время
Аз есмь, Грегориус грешный,
Стихует свои теоремы
На рифму живую поспешно.

Как ветви деревьев, антенны
Со свистом качаются, стонут —
Летят мои телепатемы
Из Санкт-Петербурга к Бостону.

Над чёрной водой океана
Дугою, со скоростью мысли
Морзянка кириллицы рваной:
Слова, отражения, числа.

Двойник мой бормочет бессвязно.
Сквозь зубы ухмылку протиснув,
Сгребает звучащие фразы,
Как граблями мёртвые листья.
А я в коммунальной квартире
В шуршании их засыпаю...

Окт., 1992

Жили в сумерках вечных:
Почти что вслепую, наощупь.
Натыкались руками
На твёрдые острые вещи.
Днем, когда очертанья
Вещей проступали все резче,
Из домов выходили
На поиски пищи. А ночью
Собирались все вместе.
Часами на кухне убогой,
Взявшись за руки, пели
Во тьму исступлённо и строго:
«Снизойди на нас светом...
Приди, освети нам дорогу...»
И казалось, что тьма
Расступалась над нами немного.

25 марта, 1993

Полощется между домами
Луны циферблатик без стрелок.
Небесное время над нами
Струится сиянием белым.
Течет по карнизам и крышам...
Под плёнкою зыбкой и влажной,
Дома изможденные дышат,
Хрипя через трубы протяжно.

Летят по бессонной столице
Пузатые автомобили...
Небесное время струится
На них своей лунною пылью.
Танцует сияющим роем
В цилиндрах, наполненных светом,
Плывущим из фар над землею...
И есть что-то мёртвое в этом.

22-29 окт., 1993

За столами дородные жёны.
Анемичная спит добродетель
в полукружиях лиц наклоненных.
На руках у них пухлые дети
грудь сосут, улыбаются сонно...

Шепелявый юродивый ветер,
набухая звучанием, стонет,
лизжет круглые головы детям.
Тлеет воздух в углу над иконой,
Божий лик на них ласково светит.
И кончается тысячелетье.

Нояб., 1993

ПРОПОВЕДЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Сын внебрачной кириллицы и диамата,
заглотив комара левым глазом, в экране
квохчет *алкоголичиком* крупноформатным —
пузырятся слюною слова воскресанья...
Замолкает. И снова, прикинувшись шлангом,
плещет многоглаголаньем мыслерожденным.
Ежефразное совокупанье в нирване.
Танец с голой Душой, Командирское Танго.
Отходная. Кончается времечко онно...
Так покойнику в ухо молитву читают.
Так с закрытыми веками ночью танцует
под промерзшею тундрою в шахте бетонной
перед запуском лысых ракетчиков стоя —
за минуту до встречи со светом. Впрямую...

22-25 сент., 1994

День весеннего солнцеворота.
Двухтысячный год.
Миллиарды людей на пяти континентах,
запрокинувши скулы
и вытянув руки вперёд,
смотрят в солнце. Сплетенных лучей позументы
на ключицах горят.
От голов поднимается пар.
Прожигая белесую мякоть над ними,
разбухает с шипением
огненный шар.
И к Земле приближается неотвратимо.

10 окт., 1994

На сцене солидная дама
Старинный романс исполняет.
Морщины овальной рамой
Движения рта повторяют.

Пиявками вздернуты брови.
В щеках размалеванных грубо,
Гирляндами бусинок крови
Качаются пухлые губы.

Весь вырез на платье певички
Заполнен напудренным телом,
Беспомощной белой птицей
Рука от груди отлетела,

Понизился голос манерно
В экстазе белки умирают.
И вздернула бедрами нервно
Под платьем трусы поправляет...

Тут вспыхнули аплодисменты...

Ветер чиркнул о зубчатый край горизонта вороной.
Пересохшее облако вспыхнуло с треском, как вата.
Осветило забор, караульную будку, солдата
За столом колченогим, покрытым клеёнкой зелёной.
Копошатся ленивые пальцы в страницах измятых.
Он листает, словами во рту шевеля монотонно,
Календарик, в котором день смерти моей напечатан.

Строгий образ, рождённого женщиной Бога, с иконы
смотрит вниз на солдата.

15-18 окт., 1994

МОСКВА , 1 ЯНВАРЯ 1998

В твердое небо растут над столицей
башни кремлёвские, как сталагмиты.
Куртки из кожи животных убитых,
шубы звериные с женскими лицами,
сумки, в которых шевелится пища, —
вниз по Тверской люди денег в свечении
слов иноземных плывут по течению,
не обращая вниманья на нищих.
Бьется реклама на стенах заснеженных,
Ветер гудит в подворотнях сурово.
Первая ночь девяносто восьмого.
Холодно в русской столице приезжему.

Чужая изба под Москвою.
На брёвнах узоры из влаги.
Я сплю за столом, с головою
зарывшись в листочки бумаги.

В окошке над облаком белым
Луна сторожит моё тело.
К утру, перед самым рассветом
стук двери, как выстрел над ухом
игрушечного пистолета.
Взлетают багровые мухи,

и Сон появляется сразу
в тельняшке, забрызганной грязью.
Сияя пустыми зрачками,
ко мне он подходит вплотную,
заносит топор над стихами...
И буквы бегут врассыпную.

Так чуткое стадо животных
от тени бежит самолётной.
Чернильная струйка живая
течёт из виска по листочкам,
бесшумно в стихах расплываясь.
Боль входит сквозь столб позвоночный.

И я просыпаюсь. Несмело
душа возвращается в тело.

Петух разрывает завесу
из слипшихся звёзд и рассвета
над зубчатым контуром леса.
Окно наполняется светом.

Изба оживает. Спросонок
кричит за стеною ребёнок.
Хозяин, весь солнцем пронизан,
в тельняшке идёт через двор.
Куриною кровью забрызган
наточенный остро топор.
И мухи багровые роем
кружат над его головою.

Июль, 1995

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

В примороженном небе запаяны
Куполов залоченные гроздьи.
Божий храм на московской окраине
Над лампадами тлеющий воздух.
Две старухи в смиренном отчаяньи
Проклинают кремлевского Каина.
На ладонях Спасителя — гвозди,
Словно кровь. И висят неприкаянно
В окнах жёлтые страшные звёзды.

1 янв., 1996

Обмылками солнца — такси.
Имперский разлив площадей.
Копыта, мундиры, усы,
летящая бронза плащей.
Взмывает с насиженных мест
голубок урчащих толпа.
Из купола выдернув крест,
поставив его на попа
над тучею ветер морской.
Промоины окон горят
расплавленной в камне слюдой:
фильм жизни запущен назад.
И где-то уже вдалеке
железные крыши домов
всплывают в небесной реке,
как крышки забитых гробов
над башнею этих стихов.

15 апр., 1996

ВСТРЕЧА

Там, где памятник Ироду раньше стоял
в ледниково-советский период застоя
возле «Детского Мира» над главной тюрьмой,
а теперь чёрной тумбой торчит пьедестал,
снова встретились мы у последней черты
в эту ночь, за которою не было завтра,
уцелевшие чудом как два динозавра.
В новом «Здравствуй!» твоём было слышно «Прости».
И мохнатое дерево из тишины,
набухая, росло на глазах между нами,
обхватило за плечи живыми ветвями...
наши головы в листьях почти не видны.
И уже не понять, для кого листопад,
пьедестал и тюрьма, и невидимый Ирод...
Для чего мы стоим возле «Детского Мира»
у последней черты. — И молчим наугад...

23-24 аgh.> 1997

Вычислительный центр
в переулке Г. Марка.
Трёхэтажный сарай
разгорожен, как соты.
Терминалов экраны
подсвечены ярко,
на экранах — иконки...
Качаются сотни
одинаковых лиц
на изогнутых шеях...

Новый русский Директор
один в кабинете
изучает журнал
для мужчин и балдеет.
Вентилятор жужжит,
в перемолотом свете
голограммы соблазнов
взрываются тихо.

У начальства в мозгу
набухают идеи
и сплетаются намертво
похоть и прихоть...

Бюстик Ужаса дремлет
под знаменем сладко.
И пульсирует красная

лампочка «Выход»,
оставляя в зрачках
у него отпечатки...

А за окнами месяц
плывёт над столицей,
и корона из звёзд
на рогах его дышит.
Красно-серое небо
дождями сочится.
Стаи мокрых такси,
как голодные мыши,
пожирают проворно
крупку пешеходов.
На окраинах, между
дымящих заводов
коридоры из стёкол
по рельсам несутся...

И над ними в дожде
извивается лента
голубых огоньков
на краю небосвода —
это души родных
на летающих блюдах
возвращаются к нам
в вычислительный центр.

1—3 марта, 1999

БЫК УНОСИТ ЕВРОПУ В ЧЕЧЕНСКИЕ ГОРЫ

Год — две тысячи первый. Конец февраля.
Место действия: кухня
в московской квартире —
у Никитских Ворот, в двух шагах от Кремля —
затерявшийся кубик
обжитого мира.
Стебли погнутых вилок, грибница посуды,
сквозь замшелую скатерть
проросшие ночью.
След от сырости в стенке, как профиль верблюда,
уходящего в небо.
И чайник клокочет,

восседая на синем цветке из огня.
В освещённом пространстве
пульсирует рваный
женский голос, как след затянувшейся раны,
как молитва «Кол Нидре»
в день Судного Дня.
Двое в чёрных одеждах сидят за столом.
Дотлевает в грибнице
дрожащий огарок.
И молитва, над свечкой свернувшись клубком,
превращается в голову
женщины старой.

Перепуганный мальчик, качаясь всем телом,
повторяет за ней
исступлённо и быстро.
Телевизор соседский кричит оголтело —
«Глас Народа» вещает
про русских фашистов.
За окном месяц с тучей на белых рогах —
бык уносит Европу
в чеченские горы.
Нежный снег белизной засыпает весь город,
засыпает их дом,
их молитву, их страх.

Февр., 2001

Факих* смотрит сухо. Но голос сырой. Он с трудом перед каждой фразой в чём-то полощет его. Раздвигает ладонями воздух. И только потом, протирая очки, говорит — словно брассом плывёт

над морем тюрбанов, над пеной бород. Наугад, с придыханьем гортанным бросает слова в пустоту: моджахеды**... победа ислама... последний джихад... Аятоллы помельче хватают слова на лету

и, хищно раскинув сутаны, уносятся прочь. В подземелья, где бледные люди, принявшие грех предстоящих смертей, мастерят день и ночь для факиха великую бомбу. Чтоб сразу и всех.

Дек., 2009

* Факих — верховный и пожизненный правитель в Иране

** Моджахеды — священные воины ислама.

Прошлой ночью, примерно в четыре, постель, где я спал, приподнялась. С чудовищным треском шов времени вдруг разошёлся. И щель рассклала тишину, переполнилась блеском — нет, даже не блеском, но отблеском — счастья. Вошёл, тяготение преодолев. На белой земле проступил горельеф из застывших давно обстоятельств, стоящих вдоль линии прожитых снов, как столбы. Столько раз натыкался уже, и не вспомнить. А тут, раздвигая мерцанья, забыв обо всём, я над ними летел. И в лицо мне хлестали холодные, снежные искры. Сливались столбы обстоятельств вдали. Чем-то длинным и чёрным казались, росли, превращались в отрубленный хвост василиска*.

23-26 дек., 2009

* *Василиск — мифологическое животное с головой петуха и хвостом дракона. На спине вдоль хвоста торчат, как острые столбы, чёрные шипы-позвонки. Человек, увидевший василиска, умирает от ужаса. Единственный способ убить василиска — поставить перед ним зеркало. Тогда, от отвращения к себе, он теряет силу, и в этот момент нужно отрубить хвост.

Парусами хоругви. Процессия туш.
Уносящие пенье во тьму под землёй
незнакомы друг с другом. Под чавканье луж
круг за кругом по ветке идут кольцевой.
Хлопья света — круженье несметное душ —
им навстречу со свистом летят. За хвостом
голосящей колонны мерцает туннель
чешуёю мозаик. Заносит метель
мускулистых рабочих, спортсменов с веслом
и колхозниц дородных... А мы всё идём...

18 февр., 2011

КИНОХРОНИКА ОГНЕННОГО ПОГРЕБЕНИЯ.

«Вижу в регалии убранный труп...»

И.А. Бродский, На смерть Жукова

1.

В потолке извиваются тени.
Молча, к небу взывают. У края
катафалка вдова молодая
неподвижно стоит на коленях.
Похоронный оркестр. Низколобий
лик вождя крупным планом. Серdito
с того света сквозь веки следит он
за толпой, проходящей у гроба.
Загораются клочья сухие
высоко на сияющих палках —
бьются факелы над катафалком,
липкой кровью блестят языки их.

Сент., 2011

2.

Сжатый рот — миллионы несчастных
повторяли на кухнях в экстазе
из него выползавшие фразы —
исковеркан брезгливой гримасой.

Хищно выгнуты тонкие губы,
жёлто-бурым горят сердоликом.
Свет крошечный сердитого лика
оседает на медные трубы,
барабаны, тарелки, валторны,
холм венков, буквы в траурных лентах.
Шеи вытянув, на постаментах
бюсты предков согнулись покорно.

3.

Он был богом живым для отчизны,
не имеющей выхода к небу,
вседержителем зрелищ и хлеба,
вседержителем смерти и жизни.
А сейчас бог до блеска обглодан
любопытными взглядами, лестью
тех, кто шли сквозь все бойни с ним вместе
и почуяли запах свободы.
Белой костью, торчащей из раны,
в зыбком месиве факелов, флагов
он мерцает. Торжественным шагом
перед гробом идут ветераны.

4.

Быстро шепчет вдова в ухо мужу
что-то очень бесстыдное, чертит

по глазам его пальцем — и в смерти
чтобы помнил о том, как он нужен.
Замирает на время. Слезами,
словно мёдом пчела, набухает
и всё гладит его, невзирая
на толпу и на треск кинокамер.
Но его уже нет. Оболочку
лишь оставил. И даже молитвы
брать в дорогу не стал. К новым битвам
он ушёл от неё в одиночку.

5.

Караул в чёрных кителях, группа
им причисленных к лику великих.
По склонившимся лысым блики
мельтешат над раскрашенным трупом,
над вождём, становящимся вещью.
(То, что было душой, отлетело
незаметно из этого тела
в материнской утробе.) Трепещут
их ладони, прижатые к сердцу,
и вздымаются потные груди —
они с ним до конца, его люди.
Но в полу раскрываются дверцы.

6.

Гроб с открытою крышкой под звуки
барабанов и труб величаво
проплывает к проёму. Державу
мертвой хваткой душившие руки,
запрокинутый лоб, за которым
темнота превращённая в камень,
катафалк с золотыми венками
на изогнутых львиных опорах
к месту огненного погребенья
в крематорий подземный уходят —
в зал Валгаллы, где Фрея и Один*
поджидают вожда с вождельнем.

* Один — верховный бог, бог войны и победы, в пантеоне викингов. Фрея — богиня любви. Валгалла — место, где после смерти бесконечно празднуют свои победы вместе с богами языческие герои.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ИЗРАИЛЬСКИМ ВЫЗОВОМ.

Мускулистый еврей с необрезанным сердцем.
Пересыпан веснушками царственный нос
Рыжий чуб, седина помесь соли и перца.
Как гремучая смесь в медной шапке волос.

Запрокинув кадык, он стоит у окна.
В двух шагах от него на старинной кровати,
Шнур елозит в ладонях, чуть задрано платье.

Баба sapiens с каплями света в зрачках
Перламутром крошатся припухшие губы,
Сигаретный дымок проплывает сквозь зубы.

Синяки, как лишайник, на голых руках,
Черепеховый гребень свисает с затылка,
И застыл в глазурованных жёлтых щеках
Полумесяц забытой блаженной ухмылки.

Электрическим светом струятся чулки,
Набухают могучие икры в нейлоне,
Шевелятся под платьем живые соски,
Словно ищут настойчиво чьи-то ладони.

И пока это длится, муж смотрит ей в рот,
Изучает ее говорящие губы.
А на улице ветер в клички небо рвет
Грохотание грома. Архангелов трубы.

Белой трещиной молния в грязном окне,
И израильский вызов над спинкой кровати,
Аккуратно приколотый кнопкой к стене,
Над затылком жены вспыхнул чёрной печатью..

СЛЕПОЙ ВОДОЛАЗ



В мутном зеркале плещут
 Два озера маленьких,
 Вертикально поставленных
 В днищах глазниц.
 В них плывут, словно льдинки
 В тумане, хрусталики
 Сквозь размокшие бревна
 Мохнатых ресниц.

Как стеклянная птица
 С когтистыми лапами,
 В хрупкой клетке грудной
 Среди белых костей
 Кашель в легких дрожит
 И, до крови царапая,
 Раздирает их в тысячу
 Красных частей.

На поверхности зеркала
 С тихим шипением
 Набухает холодными
 Каплями пот.
 Там в испарине крови
 Мое отражение,
 Растекаясь на тонкие
 Струйки, плывет.

Сент., 1992

Имеющий быть одиноким,
Взыскатель нетленных наречий,
Глаголов холодных алкатель,
Рассеянный времяубийца
Бредет с каламбуром по жизни.
Со свистом проносятся тучи
Над чёрной его головою
И след самолета разрезал
Вдали воспаленное небо
Природа полна беспокойством.

Но чуждый деталям мыслитель,
Каких на Руси уже мало,
А может бы даже и нету
(Что, впрочем, не так уж и важно.)
Течения жизни не видит.

Уставившись мысленным взором
В лицо изначальнейшим фактам,
Он весь погружен с головою
В глубинное каламбурение
Словесной подпочвы сознания.
И в месиве слов увязает
Вся неконструктивная мудрость
Вторичных его ощущений.

Тяжелые, нежные ноги
В чулках поросячьего цвета
И жёлтых сверкающих туфлях
Вздымаются в серое небо:
Витые гигантские свечи,
Зажженные в праздник Закланья.
Внизу два измученных тела
Привычно взрываются счастьем,
Все глубже впиваясь друг в друга.
И мертворожденные фразы,
Слюною стекают на землю,
И длится зачатие жизни..

Массивные женщины с маленькими головами,
Похожие на динозавров, сквозь солнечный блеск
Спускаются к речке. Земля чуть дрожит под ногами.
Сочится зелёною влагою девственный лес.
В высокой траве их колени хвощи раздвигают,
Тельца кровяные в набухших аортах поют,
Вибрирует воздух, на платьях цветы расцветают,
И райские птицы над ними деревья клюют.

1987

Как чёрная точка,
Запутавшись в улицах,
Плету под дождем
Кружева одиночества.
Хожу вокруг дома,
Привычно ссутулившись,
Петля за петлюю.
Прозрачное, прочное,
Мое королевское,
Новое платье
Дождями прострочено,
Как паутиною.
И голый король
На зеркальном асфальте
Шагает, ссутулясь,
С улыбкой невинною.

КОНЦЕРТ

Кто-то лысый в мятом фраке
повторяет заклинанья,
на кусочки воздух режет,
весь на цыпочки встаёт.
Сто голов на длинных шеях
застывают в ожиданьи,
и плывут по залу блики
головастиками нот.

Голубая вьётся скрипка
над скучающим пюпитром,
но её за горло держит
раскалённая ладонь.
Откровеньем и кощунством —
разглашением молитвы —
над пюпитром вьётся скрипка,
словно птица над огнём.

Злой колдун летит над залом.
С механическим блаженством
осторожно окунает
в ночь рукав из янтаря.
Набухает вдохновенье
в подбородке у маэстро.
И смычок у горла скрипки,
словно лезвие, застрял.

1988

Лобастый кентавр, человеко-компьютер
с руками, проросшими сквозь терминал,
и клеткой грудной, до предела раздутой,
планирует тщательно свой ритуал
ухода в диаспору и вознесенья
в цилиндрах, летящих сквозь вспышки огня,
служенья церковного на поселеньях,
по небу разбросанных, как семена.

Кончается тысячелетье. Катарсис
религии, строивших здесь, на Земле —
мечта о космическом сверхкорабле,
бессмертии в Божием Царстве на Марсе.

14-27 Июля, 1992

И каждую ночью слепым водолазом
Сквозь волны кессонной болезни, спускаясь
В скафандре коры полушарий, мой разум
Теряет сознание, и отделяясь
От плоти, становится губкой, сновидцем,
Вбирает в себя всю размытую память
О жизнях моих предыдущих, струится
Кипящую кровью и бьётся толчками
Под мягким скафандром коры полушарий...

Дек., 1992

В БОЛЬНИЦЕ

Я лежал на спине, липло к телу бельё,
Провода и присоски качались в тумане.
И мерцающей нитью в белесом экране
извивалось и прыгало сердце моё.

Сквозь прозрачную трубку по жёлтой руке,
через воткнутый в вену кусочек металла,
жизнь по капле холодным раствором втекала,
отдаваясь глухими толчками в виске.

Обалдев от лекарств, я лежал, словно труп.
И болезней бесформенных хищная стая
у постели стояла всю ночь, поджидая
пока я не усну. Но ушла поутру.

Март, 1993

ДОБРОНОСИЦА

Шершавый воздух исколот
Татуировкой цветных фонарей.
От прикосновения пальцев
Воздух осторожно вздрагивает,
Как тело женщины
Под холодной, хрустящею простынёю.
Я зачем-то стою здесь всё утро.
Наконец из дверей небоскрёба
Выходит в шершавый воздух
Доброносица с сияющими руками
И направляется прямо ко мне.
Жёлтое солнце, как парашют,
Раскрывается у неё за спиной,
Удлиняя размеры вещей.
Руки плывут над асфальтом,
Сочатся янтарным сияньем.
Её серьги осколками солнца
Зажглись у меня в мозгу,
Отдаваясь болью при каждом движении.
И там, где она проходит,
Проступают в воздухе светлые дыры.
Я отчетливо вижу лицо,
Простодушное лицо программистки
С вылинявшими голубыми глазами
И деревянным нимбом, съехавшим набок.

...Паника. Слова пузыряются во рту.
Чужие серьезные братья
Поспешно подходят вплотную,
Как будто птенец я и выпал
На мокрый асфальт из гнезда.
Склоняются чёрной толпою,
Беззвучно бормочут молитвы,
Качаются бороды, шляпы...
Я зачем-то стою здесь все утро.
Солнце светит. На улице холодно.

СЕЯТЕЛЬ

До рассвета вздохнул
Шлифовал доказательство.
Отмывал от грязи
Чужого ребенка.
Утром, согнувшись,
Вышел из дому
С щепоткою цифр
В дырявом кармане.

Шел, спотыкаясь,
По главной улице.
Улыбался смущено
Толстым кассиршам.
Подбрасывая цифры
В слепящее небо.
Был очень счастливым.

Уверенным движеньем кайфолова
выуживаю требуху из сна —
прикрыв глаза и свесив набок брови,
сопит кентавр, похожий на меня:
полуживое тело-простыня.

Под черепом, в извилинах, натёртых
до блеска размышленьем, никотин
клубами поднимается, и морды
давно несуществующих мужчин,
зажав в зубах поющие гримасы,
плывут сквозь тучи грозной чередой...

И снов моих лирический герой
становится всё злее с каждым часом.

20 Янв., 2000

Корявый, скрежещущий звук —
как будто под бой барабанный
сквозь уши, рывками мне тянут
колючую проволоку букв.

Мутнеет кристаллик в зрачках.
Шипит пузырящийся воздух.
Накал уменьшается в звёздах...
И вещи растут на глазах.

28 Февр., 2000

Свой путь земной пройдя, так трети на две,
я понял: возраст мало чему учит,
и наблюдать я перестану вряд ли
себя со стороны. Так даже лучше.

Чревовещатель с говорящей куклой
по кличке Марк. В очках огни мелькают.
И пробегает судорога в буквах,
когда в них смысл внезапно оживает.

В конце концов, речь сводится к стремленью
произнести, сберечь всё то, что хрупко.
А я останусь лишь *вместоимением*
в начале текста всех своих поступков.

Апр. 11-12, 2000

Итак, итог .
не подводить итоги.
Но продолжать
обрывки фраз плести.
И вслушиваться в них.
До глухоты.
До вспышки смысла.
Чтоб потом, в дороге
свести концы с концами.
Завязать их,
как узел брачный.
И — не продохнуть.
Да мозг упрямый
норовит взбрыкнуть
и выскочить
из сбруи обязательств.

Так запрягай,
поедем по стихии.
В открытый храм,
где правят литургию
иглой каждой
сосны голубые .
замаливают
все твои грехи.
Войди в молитву,
и дремучий лес
в шуршание

великих крон поднимет.
Раскинув руки,
повторяй за ними:
Я часть его.
И я уже воскрес.

В меня — насквозь .
струится ливень звёздный.
И грязь, налипшую
за долгие года,
смывает он.
До Страшного Суда
ещё есть время.
Ничего не поздно.

Авг., 2000

Потом, когда станешь другим человеком,
прожив в Новом Свете лет двадцать подряд,
и вечером в Гарвардской библиотеке
откроешь английский журнал наугад,
наткнёшься на выцветший лист со стихами,
заложенный внутрь, и пойдёшь напрямик,
по строчкам громоздко ступая глазами,
на первую родину — в русский язык.

...и букв прописных непрерывная плавность,
их ровный наклон, их поющая вязь,
их вкрадчивый смысл, вплетённый неявно
в посланье из Старого Света, как связь —
нить детского страха: забытый ребёнок
сидит на мешке между спящих мужчин,
глаза рукавом протирает спросонок,
родные уехали, я здесь один,
спешат незнакомые люди к платформам,
у них есть билеты, их ждут поезда,
под крышей стеклянной взбухают плафоны,
и медленно к горлу ползёт тошнота,
остались мешки и в кармане записка,
в ней почерк наклонный вдоль строчек плывёт
и буквы, друг к другу прижатые близко:
фамилия, адрес и имя моё.

И библиотека — как зал ожидания,
где фразы чужие взрослеют, растут

в посмертную жизнь на бумаге — слиянье
того света с этим, в одну темноту.

Авг., 2000

Озвученный неразговор. Суматоха
румяных от крови,
шныряющих слухов.
Но чьё-то молчанье
внутри болтовни
свернулось клубком
и, себя поедая,
сквозь ворох подвохов
угрюмо вздыхает
натруженным брюхом.
И тёмное внутрь уходит. Видны/
скорлупки рифмованных
выпуклых вздохов,
подогнанных плохо
друг к другу внахлёст.
Слова исчезают —
в мерцающей глухо,
чешуйчатой, злой
стороне тишины
змея пожирает
свой собственный хвост.

Нояб., 2000

ЛИБРЕТТО ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТТА.

Жестью жеманно-торжественных жестов,
вкрадчивым шелестом пачек балетных,
шей напряжённых припудренным блеском —
праздник оживших фигурок Ватто.
Задник, лоснящийся маслом зелёным.
Нимфы-пастушки и пары влюблённых,
словно воланчики для бадмингтона,
плавно порхают над сценой пустой.

Прима ступнёй возбуждённой ласкает
голый помост и, себя повторяя
тысячью оттисков, кружится в стае
трепетных муз, ходит вся ходуном...
Кием прожектора загнанный в угол,
в тесном трикко вертопух-нахалюга
смотрит на приму с притворным испугом,
хищной рукой прикрывая стегно.

Тут выбегает из кордебалета
друг вертопуха, в лохмотья одетый,
и начинает вертеть пируэты,
в небо закинув накрашенный рот.
Вот, в безысходной тоске и волненьи,
он через сцену скользит на коленях
и тормозит возле рампы. С шипеньем
дым у него из подмышек идёт.

Музы сплетают венок хоровода.
Рябью подёрнулись пачки на бёдрах.
В пене всплывают застывшие гордо
друг с вертопухом у приминых ног.
Свет проступил в преисподней оркестра.
Мечется, не находя себе места,
в сонме смычков шестирукий маэстро,
словно взбешённый языческий бог.

Он отсекает наточенной тенью
ниточки взглядов, протянутых к сцене.
Из преисподней вздымается пламя.
Хлынули звуки густою струёй —
музыки тело в пылающей яме
бьётся с отрубленною головой.

Дек., 2000

Бросая на ветер чужие слова,
в коробке, лоснящейся чёрным стеклом,
плывёт над асфальтом твоя голова,
и зелень стекает тебе в окоём.
День, смазанный скоростью. Густо, подряд
деревья скользят сквозь стекло лобовое,
а в зеркале заднего вида квадрат
из жизни недавней висит над тобою.

В нём чья-то машина, как мокрая мышь,
сидит, уменьшаясь в тени тополей,
и красное крошево крашенных крыш
плывёт сквозь застывшую зелень полей.
Шуршанье колёс отдаётся в груди.
А ты всё бормочешь, рифмуя обиды.
Петляет твой жизненный путь впереди.
И стих — словно зеркало заднего вида.

Авг., 2001

ЭЛЕГИЯ

На склоне лет,
на склоне лета —
ты сам ответ.
И все приметы
прожитых лет
как пятна света,
как длинный след,
висящий где-то
в кромешной тьме...

Там в жизни прежней
дом на холме
плывёт неспешно,
как стих в псалме,
во тьме кромешной...
Там мох, как мех
разбухший нежно
укутал рухлядь,
и мамин смех
блуждает в кухне
в кромешной тьме,

Там ветер стонет,
сводя с ума
синклит вороний.
И вниз с холма
старик по склону

идёт кряхтя,
и с ним ребёнок.

Идут впотьмах
два человека:
тот, кем был я
назад полвека
и тот, кем стать
придётся мне
лет через пять
в другой стране.

Крик воронья
блуждает в кронах.
А двое я
идут по склону,
и дождь струится
по ним ручьями.
Смывает лица.
Смывает память.
Февр., — март 2002

В туннеле чавкающих ,
вложенных друг в друга
раскрытых ртов ,
переливающихся пятен
шёл, шею вывернув,
багровый от натуги
вперёд оглядывался ,
в будущее пяťся .

Вокруг присоски
воспалённые дышали ,
росли сквозь мякоть ,
сквозь ребристый нёбосвод ,
за мной срастались
в темноте, переплетались
со страшной скоростью ,
и закрывался вход .

Авг., 2002

ХРАБРЫЙ ПОРТНОЙ.

Махровую выкроил
фразу навыворот
себе самому —
дорасту, а потом
скажу её вслух.
И мой голос не выдаст,
как жил я с зашитым,
скривившимся ртом.

И махом одним —
семерых побиваю.
Как мухи убитые,
годы лежат.
Заморыш-портной,
замирая от страха,
махровую фразу
мычит наугад.

28 Мая, 2002

Струились по стеклам потоки воды.
Экран терминала мерцал ядовито.
Я что-то печатал, когда позади
послышался вздох. Возле двери закрытой
стоял человек в плаще голубом.
Он был мне по пояс. Тяжелая шляпа
висела над начисто скошенным лбом.
И шёл изо рта металлический запах.
Бессонницы клочья дрожали над ним,
как порванный нимб, припорошенный пылью...
Мой дом заливало дождем проливным,
и наглухо листья окно залепили.
За стенкою маятник время строгал...
Вдруг ухнуло что-то в небесном болоте.
Мигнув перед смертью, потух терминал.
И молния врезалась в крышу напротив.

Он дернулся, словно попал головой
в воздушную яму, и круглые пряди
лицо взяли в скобки. Я вспомнил его:
мы знали друг друга ещё в Ленинграде.
Под конусом мокрого света, один
торчал он всегда возле Дома Большого
с усмешкой кривой, когда я проходил...
И вот довелось повстречаться нам снова.
Все та же росла бородавка в скуле.
Из той же усмешки текли в подбородок
резинки слюны. Только в шейном стволе

глубокие кольца добавили годы.
И время замедлилось. Пару минут
в зрачках его тени скользили как птицы.
Наверное, так после смерти плывут
по стенам туннеля забытые лица.

Потом, осторожно расправив свой горб,
ладонь протянул. Были странно похожи
в ней линия жизни, Венерин бугор
на рваные ранки, заросшие кожей.
Визитная карточка из пустоты
возникла и в старческих пальцах застыла.
Там вместо фамилии слово “Прости”
затейливой вязью впечатано было.

Он поднял над шляпою порванный нимб,
засунул мне карточку в руку умело
и сразу исчез. Растворился, как дым.
Лишь что-то тяжёлое в лёгких хрипело.
Мы больше не виделись с ним наяву.
Но часто во сне он стоит над рекою
и ждёт. Выбиваясь из сил, я плыву,
а берег уходит. Внизу, подо мною

уже раскрывается зыбкая пропасть,
и тину на горло мотает река...
А карточку эту я спрятал пока.
Она ещё мне пригодится. Как пропуск.

Ещё одна зима
пришла по мою душу,
ещё раз всё кругом
затянет белизной...
Опять лежать впотьмах,
закрыв глаза, и слушать
ликующий псалом
метели за стеной.

И плыть над мостовой
сквозь голоса органа
всех водосточных труб —
промёрзших, длинных снов.
Их рой над головой
мерцает покаянно,
и льются звёзды вглубь
заснеженных дворов.

Тугой свисток внизу
истошный, истеричный,
как бабий крик: «Пустии»,
усиленный стократ.
В невидимом лесу
пустая электричка,
сошедшая с пути,
несется наугад.

За городом дома
под простынёю снега
торчат, как позвонки
на согнутой спине...
А я плыву впотьмах
между землёй и небом,
сжимаю кулаки
и бормочу во сне:
«еще одна зима...».

22-24 Нояб., 2002

Приоткрыл для себя часть души наугад.
Появился зрачок и вокруг чёрный нимб
из набухших слезами ресниц. Его брат
и близнец отслоился, повис рядом с ним.
То молитва, то похоть в лице мельтешат,
освещённом неярким сияньем двойным.

У души моей узкий, извилистый рот,
вдоль которого бегают маленький тик.
Как у гончей, трясется горячий язык,
и слюна голубая свисает, течёт
в подбородок по шее на пухлый кадык,
где под кожей дерево нервов растёт.

Нездоровым румянцем душа расцвела
и с годами обабилась... Будто одной
некошерной едою с чужого стола
ещё с детства кормили её на убой.
Слоем белого жира до глаз заплывала,
но, похоже, сумела остаться живой.

Если долго над нею стоишь, то слышны
голоса. Что-то важное бьётся в словах,
словно исподволь истая исповедь в них
проступает наружу. Ещё один взмах —
и душа нараспашку. Поглубже взгляни:
видишь, Божье мелькнуло? Наверное, страх.

Май, 2003

Вчера, наконец,
после долгой борьбы
решился писать
что-то вроде ответа
на всё, чем я жил.
И увлёкся сюжетом.
Ушёл с головою
в писанье, забыл,
что в жизни моей
слишком мало судьбы...
А русский язык
не прощает нам это.

И фраза-ответ,
та в которой семь бед,
живых, кровоточащих
семь кривотолков,
вернулась к началу,
к словам о судьбе.
За шею меня
обвила ненадолго,
и, дёрнувшись буквами,
взвыла, замолкла —
как будто в петле,
задохнулась в себе.

Я вытащил голову.
В небе тотчас
возникла шаров

разноцветных армада.
Она приближалась.
Совсем уже рядом
висел в каждом шаре
слезящийся глаз,
обмотанный плотною
плёнкою радуг...
И плыл над армадой
сияющий бас.

Казалось, гудела
луна в небесах.
Взбухали звучаньем
шаров переливы.
И лопались с треском
внутри их глаза,
как страшный салют.
В середине всех взрывов
стоял я — оглохший —
и ждал терпеливо,
когда это кончится,
и голоса

вернутся к словам....

Июль-Авг., 2003

АПОФАТИКИ

-1-

Слово «**есть**» немотой обозначено, пропуском слова —
самый главный без-личный, без-временный инфинитив
обладанья, потребности быть продолженьем былого,
непрерывности жизни и речи, её негатив.

Негатив, где узоры из пауз слышней чем слова,
где на паузах держится всё, что поётся, дыхание,...
Знак согласия — согласованья утрат, тот едва
проступающий ритм перебоев и всплесков молчанья.

Так колонны нужны для свеченья пустот между ними.
Прочной связью пустоты внутри нас растут и теперь,
наконец, понимаешь: чем старше, тем не-отвратимей
ритмом жизни становится чередование потерь.

-2-

Ожиданье, что Он пустотою накажет последней...
В доме для престарелых евреев — слепых и глухих —
под ногами сестёр вечно путаясь в собственных бреднях,
будешь ночью бродить, бормотать, как молитвы, стихи.

Позабытый родными и Богом, с бессмысленным смехом
по ночным коридорам блуждая в пижаме измятой,
будешь слушать, как глухо силлабо-тоническим эхом
у тебя в голове отдаваясь, пульсирует святость.

Всё заметней становятся паузы. Жизнь понемногу
растворившись в пустотах, теряет своё **естество**.
И ты сам, высветляясь дотла перед длинной дорогой,
забываешь себя, превращаясь в частицу Его.

Сент., 2003

Репетиция в анатомическом театре. Барьер
над зияющей ямой оркестра цветами присыпан.
В позолоченных ложах, за бархатом красных портьер
непотребное что-то творится. Хихиканье, всхлипы...

Ассамблея-Конгресс Кандидатов в Болезни Г. Марка.
Многоярусный зал, возносящийся в тьму небосвода.
Фосфорическим светом увита железная арка
в центре сцены, и жёлтые буквы: «Доверься Природе!».

Сбоку стол для начальства. Там, выгнув прозрачные ноги,
восседают недуги великие в мантиях алых.
Айсберг люстры, слезящейся тысячей ватт, понемногу
уплывает во тьму, и проносится ветер по залу.

Главный Канцер Конгресса — скелет в позументах
и лентах —
на трибуну идёт. Под шуршание аплодисментов
объявляет начало учебного эксперимента
по вживленью микробов в тела пациентов-клиентов.

Рой летящих, летальных инфекций-страшилок кружится,
словно хищная стая, над сценой у самого края.
В зале холод собачий. Подёрнуты инеем лица,
и волнистая линия слипшихся взглядов мерцает.

Всё внимание публики прочно приковано к месту,
где под аркой стоит хирургический стол, как магнит

ощетинясь лучами сквозь воздух дымящийся с треском.
Там в скрещенье лучей моё голое тело висит.

Барабанною дробью дрожит оркестровая яма.
Я — страдающий, страждущий, жаждущий, ждущий —
среди
всех инфекций жужжащих один, поднимаюсь упрямо
над столом, и тяжёлая дробь отдаётся в груди.

Окт. 7-10, 2003

Посредине электромагнитного поля
чёрный дом для сирот
в изумрудном свечении
сотен вольтовых дуг.
Тени хищных растений
вдоль дороги к болоту, посыпанной солью,

неподвижно стоят. А вокруг набухают,
выгибаются, пляшут
магнитные линии.
Ключья мёртвого света,
как белые лилии,
над болотом мерцают от края до края.

Дом двенадцати чьих-то детей позабытых
и трёх ведьм-надзирательниц
шерстью антенною
ощетинился в небо,
и плесень настенная
в изумрудном свеченьи горит ядовито.

И плывут мускулистые мотоциклисты
в плащ-палатках, обтянутых
кожей змеиною
и брезентом резиновым.
В запахах бензиновый
по солёной дороге плывут меж пятнистых

теней к чёрному дому, где, их поджидая,
ведьмы кожу меняют,
готовятся к оргии.
Всюду мечутся их
нетерпенья, восторги их,
и друг дружку толкают, как бабочек стаи.

Через вольтовые арки въезжают фаланги
плащ-палаток с торчащими
красными крагами.
На столах злые зелья,
грибы, волчьи ягоды.
Шелестят в репродукторах дамские танго.

Из Великих Болот они входят в потоки
женских запахов, музыки.
Ведьмы впиваются
поцелуями в них
и дрожат, извиваются,
оторваться не могут, как будто под током.

Пахнет кожей горелою. Густо дымятся
между сплюснутых губ
замыканья короткие.
Рядом держат подносы
с холодной водкою
чьи-то дети. В тарелках — зелёное мясо.

Ведьмы в рваных сорочках из шёлка и дыма
погружаются вглубь

плащ-палаток квадратных.
Группового молчанья
оргазм многократный,
как застывший салют, расцветает над ними.

И земля раскрывается. С лязгом и свистом
продираются туши
ракет баллистических
из отверстий её.
В небо низкое тычутся
иглы боеголовок. С них сыплются искры...

Ожидания, запахи, всё, чем наполнен
дом в кольце из ракет,
вместе с лесом, болотами
изумрудным свечением
поля обмотано,
словно кокон, качается в радиоволнах.

Сент. — Окт., 2004

А ночью, рукой зажимая живот,
прикармливал боль своей скрюченной плотью
пока не насытится и не уснёт.
Хрипела, урча копошилась в лохмотьях
горящего мяса когтистой плюсной.
Вздыхалось над рёбрами клетки грудной
хрипенье её, как тяжёлые волны,
и падало внутрь, омывая крестец*.
Утёс святой кости, облепленный пеной,
в крошечную тьму уходил постепенно.
Я знал — надо ждать. Ждать пока не заполнит
всё тело, и оба уснём наконец.

* Крестец (os sacrum, святая кость) — кость треугольной формы в основании позвоночного столба. Древние греки считали, что здесь находится душа человека.

Заросшая тропа
из линков в Паутине
до места, где воздвиг
страницу-монумент.
И сайта моего
бесплотную машину
не сможет отыскать
всяк сущий рецензент.

24 Мая, 2006

Тот седой человек
был совсем на меня непохож.

За накрытым столом,
он сидел неподвижно и щупал

голубыми глазами
лежавший на скатерти нож.

И вздохлёб бормотал.
На губах шевелился испуг.

Конус слипшихся звуков
торчал изо рта, будто рупор.

Серебристое облако
быстро сгущалось вокруг.

Новогодняя ёлка
качалась понуро в углу.

Был усыпан иголками,
битой посудой пол.

За огромным столом,
кулаком подпирая скулу,

он сидел неподвижно.
Во мгле серебристой под ёлкой

точки чёрно-медового света,
как тысячи пчёл,

облепивших поваленный улей,
дрожали в осколках.

Тот седой человек
был совсем не похож на меня.

Его время кончалось.
И взгляд голубой на ноже

в нержавеющей стали мерцал,
словно отблеск огня.

Он бубнил, но при этом в себе
что-то важное слушал.

Ещё чудом держалась
душа в нём. А тело уже,

словно облако, плыло
в другую огромную душу.

10-13 июня, 2006

В?С?Ё?

Меж землёю и небом висит человек. Вопреки
всем законам природы. Он съёжился от ожидания
и качается, как на молитве. Набухли зрачки
небизной, перемешанной с пылью земной и сияньем.

Человек торопливо бормочет и, собственной речью
захлебнувшись, мычит, погружаясь всё глубже в столбняк...
Но прочерчен на лбу его ссохшейся кровью овечьей
между радуг надбровных похожий на молнию знак.

Цвет небесный в зрачках принимает оттенок землистый —
в зазеркалье души проступает с землёю родство,
беспросветное, будто посмертная жизнь атеиста,
атеистовое *тогосветье* живое его.

Освещение меняется. Виден лишь образ и голос —
в черепную коробку всплывает сошедшийся клином
белый свет, застывает, темнеет в *глаголосо* голом,
там где образ и голос глагола слились воедино.

И огромное слово сомнения «в?с?ё?» — как начало.
Колченогие буквы стоят, под вопросами корчась.
Это буквы *не-сущей* *одиночества*. Мало-помалу
проступает в послании смысл. Но конец *нрзбрчв*.

16-17 июля, 2006

Всю жизнь под ногами, как листья сухие, носились шурша
клочки пожелтевших бумаг, фотографий обрывки,
и в каждом
листочке, лопоча потихоньку, своя мельтешила душа.
Но лет шестьдесят шёл, не слушая, и... оглушило однажды.

Так в фильме немом — вор-налётчик врывается лихо,
влетает орлом
в дешёвый кабаk. Ищет весело жертву из публики в зале.
Но вдруг замирает, наткнувшись на зеркало, —
смотрит тайком
на ряшку свою обалдевший орёл, и мутнеет хрусталик.

Так в баре буфетчик отдельно от тела стоит своего,
трёт мокрую тряпкой стакан и следит за вором увлечённо.
Пустое лицо. Крупный план. Он не видит сейчас ничего.
Плывёт в тишине, пересыпанной тихим бутылочным звоном.

Так муха внутри недопитой бутылки в слепом исступленьи
стучится о стенки и, крылья ломая, от ужаса воет.
Не зная, что нужно лишь кверху глаза повернуть,
что спасенье
в кружочке из жёлтого света над ней. Прямо над головою...

Весь фильм — о беспомощных... Кадры плывут...
в перебивке зеркал
сплелись отраженья — буфетчики, воры, огромные мухи —
узлы на верёвке, свисающей в вязкую память... провал...

Спускаешься... ноги касаются дна...
сердце бухает глухо...

Стрекочущий треск киноленты... стук сердца...
Замедленной съёмкой
огни электрических рыб, упыри и летучие мыши —
живые клочки студенистого страха
всплывают в потёмках
Вокруг миллионом невидимых ртов
что-то скользкое дышит...

Шары из огня расцветают сквозь липкий туман испарений.
Ты медленно падаешь и беззащитною, тихую сапой
уходишь на время из времени. Мечутся рваные тени,
роются в горящих бутонах, и ветер несёт их на Запад.

Блестящие гады морские тебя обнимают за плечи.
Поток неподвижный уносит всех вместе. Вверху над рекой
обрывистый берег и три фонаря, как железные свечи,
горят под огромной иконою неба... Но ты на другой,

чужой стороне темноты — между этим вот светом и тем.
Прозрачные люди сидят над обрывом у самого края
и радостно машут плывущим. Потом исчезают совсем...
Сквозь шелест растеленных крыльев на небе глаза
проступают.

Во взгляде, стекающем нитями звёзд, растворилась
бесследно
короста из слипшейся грязи, гудящий зазор между кожей

твоей и рекой — распелёнутой мумией в кадре
последнем
выходишь из фильма, который увидел ты раньше, чем
прожил.

Сент., 2006

До краёв наполняясь
биением сердца,
дробись в озноб
и толчками плывёшь,
руки к телу прижав,
словно лодка сквозь дымку
отражений слепых.
парус трепетно бьётся,
бормочет взхлёб,
и струится поток
мутной, серою лентой
рентгеновских снимков...

А над ним сгусток солнца,
как кровью набухший,
раздавленный клоп.

2 янв., 2007

Утро. Таблетка.
Бесслёзное действие.
Вдох. Кодеиновый,
гулкий провал.
Вещи блестят,
как осколки зеркал.
В каждой себя узнаёшь.
Всё семейство
скорченных рож.
Отражений, живущих
в круглых вещах.
Наблюдают как ты
тело своё
заставляешь идти.
Белой таблеткою
душу приплющив.

14 Янв. , 2007

ТРИ КОРОТКИХ СТИХА ОТЦУ

Ту яму, в которую месяц назад
ушёл ты сквозь землю на небо Господне,
оставив в ней тело, тот чёрный квадрат
засыпало снегом холодным сегодня.

От двери к тебе и следов не осталось
в осевшей земле. Лишь кричит вороньё
над краем таблички дверной из металла,
где чёрным по белому имя твоё

12 Февр., 2006

Я знаю, на этом же месте, за чёрной стеною
тяжёлых гранитных надгробий однажды зимою
увиджу табличку, покрытую солнечной медью, —
письмо от отца, что он жив и сегодня придет.

25 Янв., 2007

Ты лежишь здесь со всеми в подземной палате
под одной простынёй. И не слышишь меня
девятнадцатый месяц. Вокруг белизна,
и торчат только чёрные спинки кроватей,
на которых соседей твоих имена.

Тёмный фельдшер с опухшим лицом ходит между
узких коек из камня, качаясь слегка

и вращая глазами а квадратных очках.
Он следит, чтобы всё совершенно как прежде
сохранялось до времени, чтобы, пока

простыню не отдёрнут над ними, ни звука,
ни единого звука сюда не проникло.

19 Сент., 2007

Чуть выдвинув нижнюю челюсть, усталый
боксёр из угла освещённого ринга
глядит на противника перед началом
последнего раунда их поединка.
Он смотрит в глаза, улыбается робко
и машет рукой. Продолжением жеста
удар изнутри в черепную коробку.
Душа со щелчком заняла своё место.

Напротив, по диагонали квадрата
назначенный кем-то противник. Весь гладкий,
лоснящийся потом. Свисают перчатки,
как чёрные головы гидры, с канатов.
Ни криков, ни зрителей больше не будет.
Лишь два, друг на друга хрипящих, молчанья.
Но ринг двух не выдержит. Схватка без судей.
Всерьёз. Не на публику. На выживание.

К открытому небу возносится крыша.
Помост, словно плот, освещённый луною.
Качается пол, и одна за одною
в борта бьются волны. И колокол слышен
вдали. Это гонг зазвонил по боксёрам,
взбравшимся после кораблекрушенья
на плот, уплывающий в тьму. Тьму, в которой
закончится схватка двойным поражением.

3-4 Окт., 2009

В этой комнате светом залитые муторным
голубые квадраты столов. Ходит между
наклонённых затылков, чуть ёжась от холода,
пожилой человек, потерявший надежду.
Он вещает в пространство про жизнь и компьютеры.

Борода его съехала вбок. Тусклым голосом,
как на автопилоте, бубнит неуклюже.
Влагой затхлой несёт отовсюду. Похоже,
что туман, заполнявший склонённые головы,
незаметно, по капле выходит наружу.

Даже пальцем сейчас шевельнуть он не может.
(Его тело при этом по комнате кружит.)
Река чуть мерцающим медленным оловом
набухает в окне. Ночь от края до края.
Ему семьдесят лет. Он неправильно прожил.

В центре неба звезда лепестки раскрывает.

4-14 Апр., 2011

СЪЁМКА.

В мощном свете юпитера таяло
чье-то тело, одетое в пыль.
Человек шёл наощупь. Душа его,
словно маленький чёрный фитиль
в сгустке пламени, скрючилась жалостно
и дрожала от ветра, с небес
ожидая сигнала. Казалось нам,
что он в видимом мире не весь.

Облака — как старухи, летящие
в белом танце во весь окоём,
разметав свои платья. Блестящие
нити искр золотистым дождём
оплетали под треск кинокамеры
человеку глаза. И потух
в центре неба юпитер. Мы замерли —
он входил в царство белых старух.

28 Мая — 10 Июня, 2011

Рано утром душа в своей влажной берлоге
просыпается, от удовольствия ёжась,
и бормочет, свернувшись калачиком. Строго
мельтешит в темноту переливчатой кожей:
вяжет музыку из мельтешенья, дорогу —
длинный жизненный путь, перевитый тревогой.

Отпечатки назойливого бормотанья
проступают на ней, возле самого края.
Разрастаются вширь, обретают звучанье
и мерцание смысла: в тебе созревает
то, что станет словами, — прелюбодеяньем
возбуждённого голоса с голой гортанью.

7 Июня, 2011

В тёмной клетке грудной, как птенец с перебитым крылом,
крик слепой молча бился. Беспомощно и неуклюже
он сжимался в комок. А потом, клюв подняв, напролом
вдруг бросался на рёбра, пытаясь прорваться наружу.

Но не мог. Обессилев, крик падал. Минуту спустя
поднимался, нахохленный весь. Как ни в чём не бывало,
начинал семенить, головой деловито вертя,
и щипать вокруг плоть. Наедался во тьме доотвала.

Долго спал, к животу прижимая больное крыло.
Возвращался потерянный голос к нему понемногу.
Наконец, в горле ком проглотив, я вздыхал тяжело.
Для ожившего крика навверх открывалась дорога.

8 Нояб., 2015

Весь ветер в сосновых иголках
деревьев зелёный оркестр
и сумрачно светлое небо

В ковре отороченном мохом
с потрёпанною бахромою
прорехи камней ноздреватых

Зелёный оркестр деревьев
и женщина в сером халате
блуждает вслепую по дому

Светящийся ветер иголок
сшивает над кронами тучи
дурманная музыка сосен

Настраивают инструменты
и не дожидаясь ответа
звучания пробуют в вышних

Сквозь траурный марш светотеней
оркестр растущих деревьев
сосновое многоголосье

Кружение верхушек под небом
слепым возвращением темы
теряющих медленно память

А женщина в маленьком доме
всё ищет пропавшие вещи
душа её слабо мерцает

И страх что плетётся за нею
хватает внезапно за горло
деревьев растущий оркестр

Лепечущий свод бормотанья
созвучия ветра и сосен
вливающихся в забытьё.

11-17 Июня, 2019

У ЛЕСТНИЦЫ НА НЕБО НЕТ ПЕРИЛ

Пил водку угрюмо, на небо смотрел...
А в полночь совсем уже пьяный, с пустыми
зрачками и ртом побелевшим как мел,
Не выдержал — вслух произнёс Божье Имя.

Языческий город вокруг него замер.
Застыла на площади тысяча тел.
И город, засеянный злыми зрачками
с прожилками тьмы, как стекло, затвердел.

Лишь ангел Господень рукою могучей
луну поправлял, протирая небеса
лохматою, влажною тряпкою тучи.
И звёзды крошились в его волоса.

Закончив уборку и вытряхнув звёзды,
он тучу над городом выжал дождем.
И алая нить протянулась сквозь воздух
от горла его к человеку со ртом,
бормочущим Имя...

Май, 1994

Не то кириллица,
Не то глаголица
Из горла выльется,
Стихами взмолятся,

И вся нелепица,
И вся невнятица
К стихам прилепится,
В глазницы скатится.

Бренчу копейками,
Земля качается,
А вены змейками
К вискам сползаются.

И кровь стучит сильнее
Морзянкой рваною,
И бьется, бьется в ней
Твое Послание...

1987

ВОЗНЕСЕНИЕ

Всплыл
столп женских тел
в небо
белой спиралью.
На миг осветился
и сразу погас.
И небо сомкнулось.
Лишь птицы
печально,
как души умерших,
кружить продолжали:
прощались, наверное,
с каждым из нас.

1988

РОЖДЕСТВО

Над органом, луною облитым,
раздвигается медленно купол.
Неуклюжий кораблик молитвы,
окруженный флотилией шлюпок,
выплывает из верфи собора
с двумя сотнями душ на борту
по фиорду аккордов сквозь горы,
распустив паруса в темноту.

20 дек., 1997

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Пальцы старушечьи
Слиты молитвою,

Перстью дрожащею
Утлой щепоткою,

В горсточку сжатыми
Веры крупицами

Мечутся истово
Пальцы иссохшие.

«Смертию смерть поправ!»
Детское пение
Стоном ликующим
В небо взрывается,

Благословенная
Весть Воскресения.
Пальцы прозрачные
В синь окунаются.

ЛЕКЦИЯ ПО КОСМОЛОГИИ

Сначала представим себе человека
В сверкающем доме кубической формы.
Он ходит по комнате, залитой светом,
Пытаясь осмыслить законы Вселенной.
И тучи молекул невидимым роем
Летают вокруг его длинного тела.

Теперь мы немного масштаб увеличим.
Как улья пчелиные, кубики зданий,
И в них — деловито снующие люди.
Всё это вращается вместе с Землёю,
Укутанной в тёплый комок атмосферы.
И Солнце для нас центр всего мироздания.

Ещё раз изменим шкалу наблюдений.
Земля постепенно во тьме исчезает.
И Солнце становится жёлтой точкой,
Затерянной где-то у края Вселенной.

Летят раскаленные гроздьи галактик,
Разбросанных взрывом творения мира,
В пустом, искривленном, холодном пространстве.
Живое дыхание Господа-Бога
Весь космос, как будто баллон, раздувает.

Вселенная есть воплощение Бога.
Быть может одно из Его воплощений.

Приняв эту мысль, мы приходим к единству
Материи в мире, пронизанном Богом.

И вот, наконец, нам становится ясно,
Что наша земля это маленький атом,
И жёлтое Солнце одна из молекул
Сплошного вселенского тела Господня.

Картина становится стройной. Однако
В ней роль человека в кубическом доме
Довольно ничтожна...

Уже нежная кожа белеет на темени,
и морщины все ближе стекают к глазам.
Только дал бы Господь мне достаточно времени.
Ну а все остальное я сделаю сам.

... сигаретный дымок, словно джин из бутылки,
волокнистою струйкой сквозь воздух плывет.
Я сижу неподвижно с блаженной ухмылкой,
Ощущая затылком дыхание Твое.

23 июля, 1991

На согнутых ножках
бесплотные числа
Бредут по равнине,
Качаясь от ветра.
И нежные леммы
Им путь устилают
Мерцающим ровно
Искусственным светом.
В проросший сквозь небо
Собор теоремы
Из белых кристаллов
С хоругвями формул
Бесплотные числа
Уходят, качаясь
По скользкой тропинке
Процессией чёрной.

ИЗ КНИГИ МЁРТВЫХ

Когда после смерти очнёшься,
увидишь свирепых зверей.
Танцующих, скалящих зубы.
Они приближаются. Кровь
течет по раздвоенным мордам.
Ты вскрикнешь, захочешь бежать!
Но все это ложное. Помни
что сделать нельзя ничего.

Забудь свое тело — ты умер.
Совсем безвозвратно. Пойми —
их нет. Это все отраженья.
Ты страхами платишь за зло.
Сумей разгадать эти знаки
себя самого, своих дел.
Упустишь и эту возможность —
в рожденья провалишься вновь.

Еще есть надежда. Попробуй
быть тем, кто ты есть, наконец!
Смирись. Поцелуй всей душою
гнилую, кровавую пасть.
Стань тем, кто танцует. Свободным.
И молнией жёлтой мелькнет
тропа вертикальная в небо.
Пойми — ты спасешься. Поверь!

13 июля, 1993

У ЛЕСТНИЦЫ НА НЕБО НЕТ ПЕРИЛ

Господи, вот я... в стихах, на краю
этой белой бумаги... ногтями до крови
расчесав заскорузлую совесть свою,
приступаю с молитвой к молитве... и снова
в небо тычется слово... все выше и выше...
но в ответ лишь молчание Божье... Не слышит?!

27 янв., 1996 г.

ГОЛЛИВУДСКИЙ АПОКАЛИПСИС

*... и колёса кругом были полны глаз
Книга пр. Иезекииля, гл. 10, ст. 12.*

Я шел ссутулившись сквозь незнакомый город.
Со мною рядом под дождем ползла
в ночь похоронная
машина без шофера.
В колёса были вставлены глаза.

Дымились площади как лунные озера.
Ручьями окна на асфальт текли.
В набухом воздухе
слезились светофоры.
И выходили люди из земли.

Два Божьих ангела кружились впереди нас,
мерцая в электрических огнях.
Как зверь прирученный,
железная машина
на поворотах тёрлась об меня.

Вверху над ливнями стал слышен понемногу
все нараставший колокольный звон.
Уткнулась улица
в громаду синагоги,
и появился служка из колонн.

Блестела аура над круглой головою,
чуть освещая плесень на висках,
зрачки, налитые
водою дождевою,
и волдыри в морщинистых щеках.

Он в храм попятился и поманил рукою.
Вздохнул, и ничего не говоря,
уже проглоченный
чернильной пустотою,
приподнял шляпу и застыл в дверях.

А я зажмурившись шагнул в провал квадратный.
Но оказался на земле — меня
волной воздушною
отбросило обратно...
И в храме загорелись два огня.

Тут он приблизился. Склонился усмехаясь,
над тем, кто мною был лишь миг назад
и что-то выкрикнул.
Машина как живая,
вся задрожала. Голые глаза

в колёсах вспыхнули тяжелым ртутным блеском,
соединяясь в острые круги.
Змеились трещины
по воздуху и с треском
небесный свод распался на куски.

24 февр., 1996

Записанные генами
в телах наших с рождения,
две вечных книги Божии
открыты нам для чтения —
друг в друге отражённые,
Вселенная и Библия.
А между них, беспомощный,
согнувшись в три погибели,
стоит мой бедный родственник.
По буковке, по атому
две вечных книги Божии
он сравнивает тщательно.

28 апр., 1996 г.

Чёрный столбик стихов в
безвоздушном пространстве бумаги.
Прислонившись к нему, стоит
лысый слепой человек.
На пергаментной коже, покрытой
испариной влаги,
дышит клинопись острых морщин.
Глубоко из-под век,
в белизне студенистой, блестят
вороненные трубы двух зрачков,
из которых мольбою
течет его плоть.
Если близко совсем подойти, то
услышишь, как губы
повторяют слова: «Помоги...
милосердный Господь...
помоги мне сказать... помоги...»

18 Июля, 1996

М. Эпштейну

Крылатым посланцем вполнеба опять
Над городом рваная туча застыла.
Круг солнца на теле его, как печать,
горит ровным светом — знак власти и силы.

Посланец от Господа истинной Торы,
Край неба к земле наклонив незаметно,
пригнулся и слушает город, в котором
на маленьких кухнях растут разговоры
травой сквозь камни — бессвязный ответ наш.

25-28 Авг., 1996

ПРИТЧА О ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ

Фундамент собора заложен был
Давно, до начала истории,
Когда ещё люди не думали,
Что строят Вселенский Собор.

У древних, наверное не было
Единого плана строительства,
Единственного Архитектора,
Но был у них — общий язык.

Тогда им казалось: возводится
Собор для всего человечества
С фундаментом, прочно закопанным,
И крышей растущую вверх.

Собор для людей был Вселенною,
Бесчисленные поколения
Рождались на свет, умирали в нем,
И в смерти с Собором росли.

Ещё и сейчас попадают
Пещеры, где тысячелетия
Священный обряд Вознесения
Секретно справляли жрецы.

Забут ритуал этих праздников,
Рисунки на стенах истерлися,

И даже то место утеряно,
Где была Святая Святых.

Теперь языки перемешаны,
И самый процесс созидания
Остался лишь частью традиции
Как нудный Сизифовый труд.

Забыта уже цель строительства.
Собор, где мы жизнь свою прожили
Растёт с удивительной скоростью,
При этом мертвея внутри.

Верховные наши начальники
Тюрьму в подземелье устроили,
И слышно теперь всё отчетливей,
Как где-то внизу, в глубине

Озлобленные заключённые
Испытывают круглосуточно
Невиданной силы оружие
И гулко трясется Собор.

ФАНАТИК

Запрокинуты
Губы неистовые
Над серым
Морем голов.
Над серым
Морем неискренних,
Застывших
Серых голов.
Запрокинуты
Губы фанатика
Словно рупор
На длинном столбе
Равномерно
Взрываясь проклятиями,
Фанатик кричит
О те — бе!

Скулы сухие
Обрублены
И впиваются в лица;
Пора!
«Пора!» кричат порами
Рупора
Последний фанатик
Порааа-а!
И швыряет
Булыжники слов

В изможденные
Серые лица
По застывшему
Морю голов
Последний фанатик
Дробится
На тысячи
Маленьких слов.
Равномерно
Взрываясь
Опять и опять,
Но спокойно
Море голов
В нём криком
Волны не поднять.
Даже если
Весь выльешься в крик!

Только длинные
Твердые
Пальцы
Из серых голов
Прорастают.
И тянутся
Длинные пальцы,
Как щу-пальцы,
Тихо качаясь.
Тянутся
Пальцы дрожащие
В слепые

Глаза фанатика,
Над морем
Враждебным
Висящие,
Слепые глаза
Распятые
На тысяче
Твердых
Щупальцев,
Застывших
Тысяче —
Руким крестом!

И тянется море
Тысячерукое
Тысячью
Щупальцев,
Прямо в лицо.
Тянется
Серое море
Заполняет рот,
Пересохший,
Измученный,
Заполняет
Глазные впадины
Море,
Серое море
Голов
И щупальцев.
И вминает

В костлявое
Тело
Две огромных
Прозрачных
Руки.
Он сжимается
Весь,
До предела.
Выливается
В воющий
Крик.

Крик впивается
В серые лица —
Отвращением,
Просьбой,
Проклятием.
До крови
Кричит
И дробится
Фанатик.

1986

За Енисеем, за инеем синим
В тихом свете затерянный скит.
У иконы стареющий инок
Исступленно поклоны творит.

В тихом свете купается келья
На полу лист бумаги, печать:
«Был вчера под Иркутском расстрелян
Адмирал Александр Колчак.»

Чёрной птицей распластана ряса
Божий инок к иконе прирос.
И в глаза ему грустно и ясно
Улыбается грустный Христос.

Готикой,
Спресованною верой
Вытянись
И слейся, приобщись
Древним,
Изогнувшимся химерам,
Рвущимся
Наверх, сквозь кирпичи.

Готикой,
Слепою, испуганной,
Страшным
Одиночеством ночей
Вытянись
В оконные проемы,
Вытянись
Иглою из кирпичей...

Готикой
Жестоких крестоносцев
Вытянись
Молитвою, постом,
Вытянись
И над тобой сомкнется
В небо
Уходящий Божий Дом...

...в глубь неба летят отовсюду
клочки облаков между звезд,
Луна в ожидании чуда
набухла бесформенной грудой
и стала похожа на мозг.

Растерянный ангел на крыше,
зажавши ладонями рот,
стоит в лунном свете, как в нише:
спиною к трубе прислонившись
он смотрит на небо и ждёт.

Под ним городское болото,
огней воспалённая нить,
квартирок пчелиные соты... —
там *Стих* поджидает кого-то,
кто должен его сочинить.

На кухне, набитой телами,
окно, как провал голубой:
диск в небе и ангел над нами...
я паузу между словами
привычной держу болтовней —
мы связаны все ожиданьем...

27 марта, 1997

ТРЕСКОВЫЙ МЫС

Тресковый мыс. Стеклянная вода.
Выходят сны из домиков на берег.
Измученные каменные лодки,
угрюмо жмурясь, греются в песке.

Я всё забыл. Бессонница. Слова.
Шуршат листвою блёклые деревья.
И женщины, облепленные снам
Идут неслышно в тёплой белизне,
Туман стригут прозрачными ногами.

Как в старом чёрно-белом кинофильме,
в застывшем кадре вспыхивает плёнка —
восходит солнце над Тресковым Мысом.
И женщины несут своих младенцев
глотать туман у краешка Земли.

Тоскливо смотрят каменные лодки,
как проплывают белые младенцы
в торжественной рассветной тишине.

В рукоплесканьях голубых деревьев
восходит солнце над Тресковым Мысом.

Окт., 1997

Муляжи. Электрический свет. Имена
на разделанных тушах предметов. Заранее,
словно бирки, развешенные для меня.
Перепутал нарочно их кто-то. Похоже,
до рожденья ещё. Супермаркет названий.
Продавцы-манекены с блестящею кожей...
И чего я мечусь между полками? Просто бы
подождать, пока буду застигнут врасполох...

Почему Ты не хочешь ответить мне, Господи?...
Или я безнадёжно на душу оглох?

Окт., 1999

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

Памяти И.Б.

Всего три года, но с твоим лицом
во сне всё реже встретишься опять.
Похоже, ты решил в конце концов
лишиться черт, чтобы собою стать.

Я вижу: весь засыпанный крупой
из русских букв ты медленно плывёшь,
как облако, над чёрной мостовой.
Огни зажглись, накрапывает дождь,
блестят мешки из пластика кругом,
как волдыри натёртые толпой.
И манекены смотрят из витрин
как уползают в темноту гуськом
сквозь дождь улитки жирные машин...

Но гул растёт невнятных фраз твоих
из облака, в котором плоти нет,
а есть лишь голос, говорящий стих.
И, кажется: не три, но триста лет...

26-29 янв., 1999

ШАНГРИ-ЛА

В электронных горах
на краю киберпейса
там, где сходятся все
параллели узлом,
из страны Шангри-Ла
в шамбале эдельвейсов
через спутники Божьи
транслируют Омм.

Но зарос телевизор
мой чёрною шерстью,
студенистый экран
разбухает от зла.
Виртуальная жизнь —
репетицией смерти.
Не доходит сигнал
из страны Шангри-Ла.

26 Февр., 2000

Свой извилистый путь
через горы молчанья, как строчку
в конце жизни-книги,
из памяти вынул,
поднёс его к свету, и тотчас
там вспыхнули блики,
мельтешащие вехи,
подъёмы, душевные спады,...

И, как на ладони,
оживают фигурки родных
и друзей в Ленинграде,
Иерусалиме, Бостоне.

Я почувствовал, что
голова уже кругом идёт и
меня укачало,
что в изгибах строки,
серпантинном тугих поворотов
прорезанной в скалах,
есть значение и смысл:
если с неба читать,
в бестолковом
сплетении изгибов
проступают курсивом
два самые главные слова —
Прости и Спасибо.

11-12 Февр., 2004

Этот стих, как искусственный глаз,
удивлённо глядящий в упор
из раскрытой ладони моей, —
я в него говорю свои сны,

чтобы сразу же, здесь и сейчас,
их впихнуть в окоём-кругозор.
Но слова, погружённые в стих,
вытесняются из глубины

натяженьем поверхностным фраз.
В них хранится тяжёлый узор
из прожилок и голосовых
рваных связок — узор болтовни

сокровенной моей, напоказ
проступивший...

1-3 Апр., 2004

Фонетический мир,
погружённый в Писанье...
Произносишь — и сразу же,
с первой строки
воскрешает ивритские
буквы-крючки
ненаписанных гласных
живое дыхание...
След Господнего Духа...
И чьей-то руки,
обозначившей точками*
след и звучанье...

15 Сент., 2005

* В иврите гласные не пишутся, и огласовка обозначается точками под буквами.

Заплетаются рельсы железнодорожным узлом.
Словно дрожь, пробегает по буферам сдавленный лязг.
И по графику, точно в двенадцать, набитый битком.
пассажирский отходит. Мильоном растерянных глаз

наблюдает белесая ночь, как в вагонах стальных
неподвижные люди поют, погружаясь в столбняк.
Всё сильнее, сильнее над синими тенями их
разгораются нимбы сплошной волною огня.

И ползёт сочленённых вагонов гремющий металл,
раздвигая пустые платформы в ночи, напролом
по закопанной в землю, сияющей лестнице шпал...
А внутри всё поют нараспев те, кто умерли днём.

30 Сент., 2005

Бормотать по ночам, чтоб воскреснуть, по крайней уж мере,
чьей-то памятью, сбивчивым гулом в ушах поутру.
Если мы выбираем, и всем нам воздастся по вере,
кто не верили в смерть, может, только они не умрут.

Словно крылья пропеллера, по небу кружатся лица.
В тёмный центр движенья стекает взыскующий взгляд,
от тебя отделяясь. И ось начинает светиться.
Но пугается тело, и тянет упрямо назад.

В небе кружатся стороны света и стороны тени,
миллионами губ над тобою пропеллер шуршит.
Истончается взгляд, но не рвётся. И внутрь движенья,
в белизну вдоль оси оболочка стекает с души.

Превращенье начнётся с отказа, с отказа от тела.
Тебя ждут. Ну, а здесь всё равно не надышишься впрок.
Когда тень не отбросить никак, среди белого в белом
ты, быть может, узнаешь, что знает сейчас только Бог.

26 нояб., 2005

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕКАРЯ

Откроется дверь поздней ночью
на небе, и воздух лучистый
ворвётся в мой дом. И воочью
увиду его я. Со свистом

тьма ночи в лицо мне сгустится.
Зрачков воспалённые блюдца
зажгутся в запавших глазницах,
танцующим светом нальются,

всплывая со дна глазного.
И в них отразятся звёзды.
Ресницы тупые сурово
проколют светящийся воздух,

проступит потухший окурок
в губах, поползёт, к подбородку...
И лекарь с усмешкою хмурой
достанет свой голос из глотки.

Иглою из слов раскалённых
вонзится мне голосом в спину.
И вытечет сдавленным стоном
боль левой моей половины.

5 Мая, 2006

Словно рыхлый уродец
с лицом большеротым.
Его держат
в причудливой формы сосуде
пока он там растёт,
заполняя пустоты.
А потом разбивают сосуд,
чтобы люди
смеялись.
Смеялись взхлёб, до икоты.

Как идёт,
виновато вокруг озираясь,
и ручищами
для равновесия машет.
Будто весь он
танцует у самого края
той невидимой ямы.
И сыплется кашель
на дно, на осколки
стеклянного рая.

Где отдельно от всех
в прочном доме-сосуде
рос, мечтая стать клоуном
в маленьком цирке...
Глаз оскаленных точки
качаются всюду —

стих танцует у края
невидимой дырки.
Мерцает на дне
разноцветная груда.

12 мая, 2006

БАЛЛАДА О СПАСЕНИИ

Электричка несётся и, лязгая рельсами, шпалами,
завывает, как раненый зверь. Она врежется в стену
через пару часов. В освещённых вагонах, где алая
желчь подмешана к жёлтому свету, сидят манекены.

Хлещет ветер со злостью по окнам деревьями голыми.
Деревеньки мелькают в дырявом краю небосклона.
Прижимаясь локтями друг к другу и вытянув головы,
манекены сидят неподвижно и насторожённо,

как немые свидетели со стороны обвинения.
В электрической желчи клочок из взбухающей плоти
оживает, выходит на свет человеческой тенью и
озирается по сторонам, расправляя лохмотья.

И в железной утробе, несущейся по лесу, делает
первый шаг неуверенно. Вспятившей явью вдоль окон,
по вагонам, наполненным грохотом, тень обалдевая
пробирается против движения поезда боком.

Где проходит она, там встают манекены и с пением
вслед идут, сдвинув брови. Сияют квадратные скулы.
Электричка несётся к Стене. Перед самым крушением
тень — ловец манекенов — сквозь тамбур последний скользнула,

и, внезапно *вметафорясь*, в тёмное небо возносится.
Над Великой Стеной, над вагонною чересполосицей,

над обломками поезда в новую жизнь улетает
за своим вожаком манекенов крылатая стая.

7-8 Февр., 2007

Над свечкой зажжённой качаясь, *Суббота* бормочет —
невнятное благословенье на древнем наречьи.
Кому-то вверху улыбается. Узкие плечи
и крылья, прижатые к платью, укутаны ночью.

Плывут в потолке теней медленных круговороты,
огромным цветком распускается пальма. Под нею
за длинным столом двое в белом, встречают *Субботу*.
Святящимся потом во тьме истекают их шеи.

Друг к другу повернуты лица. Слова вылетают
из губ неподвижных и вьются, толкаются между
двумя головами, как бабочки. Плотная стая
порхающих маленьких слов облепляет одежды,

стучится в глаза, забивается в уши и в глотки...
Но сквозь бормотанье над ними, совсем уже низко,
субботний огонь с тёмным стержнем внутри, словно лодка
с пылающей мачтой, всплывает. И сыплются искры.

7 Апр., 2007

Молитва была, как спасительный шест,
как гибкий луч света в руках акробата.
С глазами закрытыми шёл по канату.
Любое движение, неправильный жест —
один только жест — и сорвётся куда-то

в опилки, пропахшие потом коней.
Канат под ногами был тоньше, чем волос.
Но он равновесье удерживал. Голос
скользил по молитве, качался на ней.
Он шёл, и вокруг его светлая полость

во тьме расширялась. Светящийся мрак
стекал на притихшую публику в зале.
Осталось недолго. Он чувствовал, как
тяжёлые крылья в спине прорастали.

31 Янв., 2010

Рано утром кружок продышу на стекле.
В нём, шатаясь от ветра, шагают с ночлега
 тени сонных деревьев на чёрных ходулях.
Их пушистые шапки свисают к земле.
В синем доме напротив за кружевом снега
серебрится подол замерзающей крыши,
 отороченный нитями света в сосульках,
 валит пар из трубы, стены медленно дышат.

Рано утром в конце декабря надо мной
облака проплывают в дыре ледяной
 сквозь рассвет, перемешанный с звёздной пылью.
 Там небесные лыжники белой стаей
вниз со свистом несутся, сложив за спиной
 окроплённые солнцем прозрачные крылья.
 И у каждого весть на ладони благая.
 Открывают границы. Для всех. Половины

наших жизней сольются теперь воедино.
Наяву, не во сне, повидаться с отцом,
посмотреть, как он там, помолчать с ним вдвоём
и сюда возвратиться. Никто не исчезнет.
Те, кто с неба придут, — они посланы всем.
И для всех на ладонях их вести горят.
Начинается день. Ни врачей, ни болезней,
ни границ между светами — этим и тем.

Я уйду рано утром в конце декабря.

8-9 Дек., 2010

530

Это будет зимой. Ещё до воскрешенья
тех, кто души имели, — людей и животных.
Будет двор возле крайнего дома в поселке,
где давно не живут. Щепки, доски, поленья.
И в замерзшей грязи, утрамбованной плотно,
комья белой извести, бутылки, осколки.

Всё завалено мёртвым. И места нет, где бы
хоть травинка росла. Но однажды здесь ветер
на фабричной трубе заиграет побудку,
выводя за собою мелодию в небо.
И земля во дворе отзовется, ответит —
словно дрожь пробежит в деревянных обрубках.

И обрубки ожившие встанут, цепляясь
друг за друга. И выпустят быстрые корни.
И корой обрастут, набухающей соком.
Листья с шумом вспорхнут из земли, словно стая
воробьев. И заполнят сплетениечёрных
сучьев, веток, побегов. И в кронах высоких

они вспыхнут на солнце зелёным свеченьем.
Ветер в новой траве зашуршит отовсюду
и засеет её полевыми цветами...
И когда в жизнь войдут все цветы, все растения, —

531

ведь им мало дано, и судить их не будут —
для зверей воскрешенье из мёртвых настанет.

А потом для людей... для меня...

6-7 Июля, 2013

АДАМ КАДМОН*

Послания вспышками света
по нитям стеклянным скользили
посмертной судьбой в интернете —
на сайтах, мерцающих гнилью
во тьме светоносных просторов,
блуждали забытые души;
до крови разбив себе крылья
о синюю твердь мониторов,
толпой прорывались наружу;
потом озирались с испугом
и медленно, поодиночке
вставали, на боль невзирая;
наощупь искали друг друга, —
по букве, по слову, по строчке
себя в Метастих собирая,
в подобье Адама Кадмона;
он рос, наполняя до края
восточную часть небосклона.

Из твердых квадратных экранов,
висящих в живой паутине,
летел ослепительно белый
рой вспышек — Адам первозданный
себя собирал воедино;
в прозрачную явь его тела

* Адам Кадмон — человек первоначальный; состоящая из света первоначальная поэтическая форма, прообраз человека.

бесшумно вплывали планеты
сквозь россыпи звездных спиралей;
лицо, расширяясь, горело
сухим кристаллическим светом;

в нём вместе с прожившими ждали
ещё не рождённые души.

ИСТОЧНИВШИЙСЯ СВЕТ В АБАЖУРЕ, ОПУЩЕННОМ С НЕБА.

Шелковистые, пыльные фрески на стенах.
Между них витражей воспаленные щели —
многоцветный каркас в абажуре из камня.
Я, куратор коллекции редких свечений,
самозванный куратор (на самом-то деле
просто *сплётчик* мерцаний и смыслов неявных),
бормочу, глядя вверх. И уже по колено
темнота. Где-то в куполе, как в колыбели,
новорожденный стих засыпает. Слышна мне
лишь последняя фраза: «... начнешь постепенно
повторять, позабыв обо всем... ». Неужели
срок скостить себе можно одними словами?

Глубина пропадает. И лица вокруг
проступают отчётливо через пласты
штукатурки сухой. Крики женщины, стук
молотков. Над землёю возводят кресты.

Нижний угол у фрески прочёркнут копьём.
Там сдирает солдат с наконечника клок
в укус смоченной ткани, не зная что в нём
ещё длилось дыхание и время текло.

Тот другой без лица вынул меч и проткнул
Его тело. Сквозь чёрное небо звезда
приближалась стремительно. Слышен был гул.
На помост уже хлынули кровь и вода.

И тогда от свисавшей на грудь головы
раструб яркого света во мраке возник.
Пригвождённые намертво руки в крови
обнимали толпу. И меня среди них.

Нояб., 2018

Венценосной Венеции звон.
На удары разъят часослов
колокольный, там стебли колонн
вяжет солнце в снопы куполов.
И на запах гниющих стихов
в глубине водяной темноты,
стаи хищных гондол без гребцов,
шеи выгнув, скользят сквозь мосты.

На вершине любого снопа
крест, с которого ангел взлетел.
А внизу шевелится толпа,
расползается тысячью тел
в щели между дворцов. Испокон
всех веков под землёй в глубине
гулким эхом гудит этот звон.
Даже здесь его слышу во сне.

1-4 Февр., 2019

А теперь, когда виден конец,
хорошо бы составить уже
оглавление к жизни своей.
Ведь всю книгу не будут читать —
слишком много там слиплось страниц —
так быть может хоть взглянут в него.

И всего-то пять сотен стихов.
Драгоценное время ночей,
что растрчены лишь на слова,
а судьбы не набралось на час.
Разве что после смерти всерьёз
будет с кем поболтать наконец.

12 июля, 2019

Человечек стоял на вершине горы.
Раскалённое солнце впивалось в затылок.
Нестерпимо искрились кристаллики снега.

Позабыв о себе, он стоял неподвижно,
опираясь на палку. Улыбка его
отношения к жизни вообще не имела.

В облаках перед ним проступала фигура,
обведённая тонкими кольцами света.
Свет был красным снаружи, но синим внутри.

Это радуга, соединившись концами,
просветлённую тень отделяла от неба.
Многослойные кольца как будто дышали
то сжимая её, то опять раздувая.

Человечек очнулся и двинулся вниз.
Ребятишки бежали за ним по пятам,
обзывали придурком, швырялись камнями.

Но всё время, пока он спускался с горы,
в круглой радуге тень рукавами махала,
отводила летевшие в голову камни.

Он добрался домой и, похоже, уснул.
По кровати сквозь жалюзи плыли лучи,
на полу застывая распластанной арфой.

Свесил ногу во сне и коснулся носком
самой крайней струны, проверяя звучанье.
Просветлённая тень в облаках задрожала,
каждой жилкою тела его отзываясь.

Июль — Авг., 2019

НЕ ДНЕВНИК — НО ОТВЕТ



Окошко в стене,
как гравюра на меди:
пылает в закате
воздушный ковер.
Как тщательно вырезал
дерево в небе
влюбленный в детали
Вселенский Гравёр.

1987

Загоревшихся капель точки,
как зрачки, облепили плоть.
Может, именно этой ночью
мне приснится Господь?

1987

Господи,
шансом последним,
Господи...
Не сбережёшь
и обрушится пустотой,
повторением,
умиранием...
Господи,
дай части Твоей
не погибнуть вдали от Тебя,
возродиться в Тебе,
возвратиться в Тебя.

Мне больно...
Нам больно обоим,
Господи.

1987

Все чаще память тела изменяет:
Стал забывать язык прикосновений,
И сквозь озноб почти не проникает
Вещей холодных жалобное пенье.

1989

Я впервые увидел сегодня:
В чёрном небе застывшие звёзды
Надо мною, как слезы Господни.
И тогда осознал я, как поздно
Начинаю я видеть...

1990

У входа в воронку, друг друга толкая,
Плывем, как чайники, как чёрные точки,
Бессмысленно кружимся и, набухая,
На дно опускаемся. Поодиночке.

1990

Ранимый.
Удара держать не умеешь,
Ранимый,
Похоже
Язык у тебя
От молчанья распух.
Чужими.
Ты видишь себя
Лишь глазами
Чужими.
Но Боже!
Как хочется все же
Сказать что-то.
Вслух!

19 Июля, 1991

Над телами чудовищ
В подземной реке
Присосавшихся плотно
К плоту моему,
Со светящимся шаром
Молитвы в руке,
По теченью
Во тьму.
Одному.
Одному.

10 авг., 1991

Ведь с чем я приду к тебе, Господи мой?
С пучком теорем и стихов несуразных?
А все, что не сделал, на чаше другой...
Но, может быть. Ты улыбнёшься, и сразу
Исчезнут весы...

Из мутной воды словоёмов проточных,
Со дна, из корявых корней и стволов,
Крюками отточенных четверострочий
Рыбёшку вылавливать мелких стихов.
И в воду обатно.

6 сент., 1991

Полжизни отбыл, за собой оставляя
Повсюду слова, словно след.
Но только сейчас понимать начинаю:
Стихи не дневник, но — Ответ.

24 сент., 1991

Когда, наконец, я воскресну,
наверное, лет через сто,
в залитой сияньем небесным
больничной палате пустой,
и новое сердце неровно
в груди застучит первый раз,
я вспомню, я сразу же вспомню
всё то, что я вижу сейчас.

Окт., 1991

Под дикой развесистой клюквой,
как будто покойники в ряд,
глаголов мохнатые буквы,
сцепившись слогами лежат.
Обрывки забытых историй.
И корчится подпись — сорняк,
проросший сквозь буквы, — Григорий.
А дальше обрублено — Марк.

1991

Бедолага ты мой, лабуда
И бедлам всех твоих заморочек,
Несусветная белиберда
Из бессвязных, разорванных строчек,
Прорастающих, как лебеда,
Как сорняк в твоих белых листочках,
И либидо живая вода.
Пропитавшая твой юморочек —
Это все ещё только цветочки:
Лебеда, либидо, лабуда...

16 июля, 1992

Господи...
Ты бьешься во мне сверкающим,
Зелёным гипнозом листовным.
Внутри меня, ускользящий,
Живущий среди бесчисленных,
Знакомых, полурастаявших
Обрывков невнятной истины.
Огромным моим раскаяньем,
Надеждой моей единственной...
Господи...

Отъединённый,
весь отъединённый,
Завернутый
в шуршащий целлофан.
Раздутая
от крика голова.
Не докричишься.
Наглухо спелёнут!

1992

Отпилигримствовал и вот —
Смирился, приутих.
Тасую ночи напролет
Колоду слов своих.
И слышу, как в ночной тиши
Рождает мышь гора:
Мой карандаш шуршит, шуршит
В бумаге до утра.

7 февр., 1992

Спустим весь Третий Рим
С молотка понемногу,
И надвинется хаос,
И в нас прорастёт.
За последний предел
Сумма зла перейдет,
И все вещи вернуться
К Хозяину — к Богу.

2 апр., 1992

Все время хватаем
руками, словами.
Хотя понимаем
на самом-то деле,
что Господа больше
в летящей газели,
чем в туше лежащего
гиппопотама.

12 апр., 1992

Отверстие круглого рта,
Лиловой мембраны мерцанье.
Под нею помады черта —
Неряшливый знак вычитанья.

В напудренных складках висят
Исчадия глаз подведённых.
Как страшно раскрашен фасад
Бессмертной души, заключённой

В обтянутый кожей сосуд...

2 мая, 1992

Бесшумно взорвалась в окошке луна.
И в слово сложились осколки, как будто
Послание в небе зажглось для меня...
А я не успел прочитать эти буквы.

8 авг., 1992

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В сигаретном дыму
Говорящие круглые головы
Проплывают вокруг
На раздвоенных книзу телах.
Пахнет жжённой серой,
Сивушной гнилью тяжёлою.
Волосатые сферы,
Толкаясь под лампочкой голою,
Изрыгают слова,

27 окт., 1992

Дым отечества падалью пахнет и тлением.
Это страстные люди российского этноса
Белоглазою, волчьей стаей несметною
Свежий труп государства грызут в исступлении.
А вокруг, безучастное и безответное,
Под оранжевым небом стоит население
И глотает слюну.

10 февр., 1993

И каждую долю мгновенья
В роддомах великой державы,
Отёчные ноги расставив,
Пузатые бабы с хрипеньем
Орут по звериному дико,
Рожают пунцовых младенцев,
Гнилые зажав полотенца
Во ртах, перекошенных криком...
И все это длится годами.

20 февр., 1993

Птица-тройка в туче пыли
Над землей летит... назад.
Жилы вздулись. Морды в мыле.
Переломанные крылья
Под копытами трещат.
Не судите слишком строго,
Тройку-Русь, свою судьбу,
Церковь нашу, синагогу...
Николай Васильич Гоголь
Тихо вертится в гробу.

9 марта 1993

Заблудился в стихах.
Ум заходит за разум.
— Далеко ль до греха?
— Да всего только фраза.

12 авг., 1993

Я выверну всю подноготную слова
И там, в нагловатой его наготе,
В слепящем сиянии слова нагого
Весь вспыхну я снова — от ног до ногтей.

Мой мозг, мой изворотливый слуга,
Наглеет и хитрит теперь со мною.
Похоже, я нажил себе врага
Под собственной коробкой черепною.

30 нояб., 1993

Запутался в мозгу комочек снов...
Качает ветер гроздь светочеров.
По комнате, расталкивая шторы,
плывёт луна в платке из облаков.
Строка — сорокобуковка слепая —
перебирая гласными, сползает
с листа — к Тебе, за тридцать стихов.

18 февр., 1994

Купола из трущоб проросли —
урожаем небесным восходит
золотой виноградник Господень
на помойках российской земли.

10 апр., 1994

Конус завтра из сегодня
выходит, сужаясь в свечение
утлой лодочки света.
Не видно уже берегов.
Я плыву в темноту.
И единственный шанс на спасенье,
Что я ближе к Тебе
на три сотни стихов.

12 апр., 1994

Зимою греются бомжи на чердаках.
Костры из книг, ворованных со складов,
разводят ночью, и гуляют на бровях...
Горит отечество, но дым его не сладок.

18 мая, 1994

Ни умысла, даже
ни вымысла нету.
Но промысел только —
жить, время замедлив.
Стать маленькой тенью
для Божьего света
с другой стороны.
Чтобы здесь был заметней.

Ломкий лёд на стекле —
как оклад на иконе.
За стеклом лик Дающего —
напоминаяем
над землею язычников.
Вполнебосклона...
Ломтик жизни лежит
на огромной ладони,
словно солью, усыпанный
густо сиянием...

Но не видно берущих.

1 марта, 1995

Стихи мои, как витражей кусочки,
сияют только отраженным светом,
дробятся на колючие предметы,
на сотни фраз, срифмованных неточно,
осколки строчек, мыслей, разговоров...
А в том стихотвореньи, на котором
стоит весь мир, всего четыре строчки.

20 мая, 1995

Теперь по ночам просыпаюсь все чаще.
Часами лежу и уснуть не могу.
И слышу, как стрелки на левом запястье
Последнее время на части стригут.

Я иду рано утром со свечкой по льду
Шапка мокрого снега на голову давит.
Залепило очки и примёрзли к оправе
две надбровных дуги. Я упрямо бреду
сквозь круженье снежинок, пропитанных кровью.
И чужие слова бормочу на ходу,
коченея от холода в белом бреду.

11 нояб., 1995

Касаний звучащая сочность;
поверхностью век осторожно
потрогать свет солнца проточный —
лишь коже ещё верить можно.

12 нояб., 1996

Ручьи наших жизней,
впадающих в круглое озеро смерти,
мутнеют. Все ближе к пустым берегам
подступают болота.
Тяжёлые лодки с вещами
течение медленно вертит.
Над спящей землёй одинокий
пилот смотрит вниз с самолета.

18 нояб., 1996

Сверкающий стол, как прилавок пустой.
За ним сижу я, поджидая бесцельно,
с душою, распластанной перед Тобой, —
торговец товаром из слов самодельных,
обмотанных нервами наспех.

21 нояб., 1996

В предыдущие жизни, похоже,
слишком много долгов я наделал...
И отдать их теперь невозможно.
Лишь одно непослушное тело
да щепотка словечек в горсти...

Вот и все, больше нечем платить.
Но ведь взыщется, как ну крути...

21 марта, 1997

Пульсируют тонкие нити
Всегда ускользающих строк.
Моим непрерывным открытием,
Надеждой последнею — Бог.

В терминале висело
дрожащее белое веко
и глотало слова.
Прокламации к тем, кто прочтет,
в виртуальном пространстве
носились всю ночь напролет —
интернетною сетью
ловил человек.

22 сент., 1997

...и страшно признаться:
всё чаще молчу в темноту,
язык мой телесный —
кусоч побелевшего мяса,
при каждом дыханьи
трусливо дрожащий во рту, —
чужие слова
говорит за меня безучастно...
Облеплены густо,
как бирками для идиотов,
названьями вещи.
Язык произносит их вслух.
В ответ мне читает
другие названия кто-то...
Болят голова,
видно, мозг от молчанья разбух.

28 марта, 1998

Крупую типографского петита
я был засыпан. Только голова
торчала, но мелькали деловито
отростки белых пальцев в рукавах.

Метафор механизм лентопротяжный
скрипел слогами, что-то порождal
дымящееся правдою сермяжной...
И плыли сквозь разбухший терминал,
как стая рыб, светящиеся фразы.

А я переживал их и, хрипя,
анapestом выстукивал в экстазе
на клавишах компьютерных себя.

16 окт., 1998

Небоскрёб, опоясанный светом,
проплывает, вращаясь сквозь воздух.
В облаках сидят пухлые дети,
разноцветные трогают звёзды...
А в дрожащем нутре небоскрёба,
в самом главном его кабинете
на столе длинный список, кого бы
я увидеть хотел на том свете.

10 Февр. 1999

...и в две тысячи-мне-неизвестном году
душной ночью в парижском отеле, залитом
потом мебели старой, проснусь в пустоту
из враждебных вещей... и увижу в окне
как ребёнок, летящий верхом на коне,
света пригоршни из серебристого сита
рассыпает во тьму, приближаясь ко мне
между цинковых крыш, он кричит на ходу...
И к стеклу прижимаясь щекою небритой,
я молитву начну бормотать на иврите.
И тогда двое чёрных в мой номер войдут.

9 Мая, 1999

...тут мной говорящий «не я» на минуту
раскрыл чёрный рот и понёс ахинею
о том, что без алиби будет мне круто,
о Страшном Суде и о *стиходице*...
И нечем дышать сразу стало, как будто
петлёй горизонт затянулся на шее.

1 июня, 1999

Человечек двуэгий по имени «Нет»
наугад что-то важное в небо лепечет,
весь зажмурясь от страха. И льётся на плечи,
как молчание Божие, солнечный свет.

Миллионы дрожащих пружинок на спицах,
головастиков и закорючек лиловых
в направлении произнесённого слова
проплывают под веками. В череп стучится
гулкий звон колокольный, обёрнутый в плёнку.
Засыпает мозги толстым слоем трухи.

Уцепившись за образ, лепечет стихи
человечек по имени «Нет» потихоньку.

Волны боли — кругами под кожей —
словно кто-то колотится в душу
и никак достучаться не может...
Но к утру звук становится глуше,

а потом исчезает в гортани —
тишина до начала спектакля.
Слышно, как за стеной из-под крана
время жизни стекает по капле.

13 Окт., 1999

... о том, как изнасиловал княжну,
а утром бросил за борт на потеху
дружкам своим. Вот так-то в старину
братва гуляла. И плывёт, как эхо,
по Волге песня. Вплоть до наших дней
над этим местом кружат чаек стаи,
лежит княжна персидская на дне
и к мести правоверных призывает.

Февр., 2001

Ползут муравьи
по Господней ладони
вдоль линии жизни.
Вращают глазами.
И медленно дышат
отвесные склоны
живого ущелья,
над их головами.

20 Сент., 2002

Словно чёрный осадок огромного дня
на вещах и на лицах сгущалась усталость.
Чёрнота за окном понемногу сливалась
сквозь глаза с чёрнотой внутри у меня.

И казалось, что ночь и все вещи, все лица
превратились в сообщающиеся сосуды...
Может, уровень чёрного должен повсюду
одинаковым быть, чтобы не возгордиться?

Май, 2004

Настроить себя. Стать антенной.
Натянутым проводом в небе.
Доверчиво, чутко, смиренно
ловящим сигнал из эфира.
Сквозь дребезг, сквозь плещущий щебет,
сквозь волны и всплески оваций,
среди океана звучаний
в сигнале, в писклявом пункте
услышать начало Послания.
И больше уж не сомневаться.

12 Дек., 2005

Чернота, обведённая
рамою шорохов,
фонарей из червлёного
олова-золота
истекает в шершавом
асфальтовом ворохе
женским голосом
по раскалённому жёлобу.

15 Мая , 2006

Прожить не собой,
но чужим человеком.
В конце выйти к небу
с огнём в рукавицах.
При этом остаться
хотя бы немногим:
скелетиком рыбьим
стиха на странице,
оплывшую памятью
об имяреке,
как свечка в заре,
растворившемся в Боге.

20 Мая, 2011

Из сожжённых стихов Мандельштами,
где в золе исчезал его след,
шёл старик весь обёрнутый пламенем.
Полуголый, худой как скелет.
Отрывал вместе с кожей безжалостно
он лохмотья горящих словес,
становился прозрачным. Казалось нам
был он в видимом мире не весь.

28 авг., 2018

Увидел себя
спящим в чьей-то постели.
Я, не отрываясь,
смотрел в потолок
закрытыми плотно
глазами. Летели
часы или годы.
Мой сон был глубок.
Но это снаружи,
на самом-то деле
я слышал, как кровь
ударяла в висок.
И ждал.

22 окт., 2018

Шёл в колонне, но сам по себе, много лет.
Видел только дорогу и контуры тел.
Иногда озарялись затылки, гудел
проносившийся мимо безжизненный свет.

Но сейчас будто в землю вдруг канули все.
Примесь музыки в шорохе ветра. Простор
пустоты. Свет в лицо мне направлен, в упор.
Спотыкаясь, по встречной иду полосе.

Март 1, 2019

Написать завещанье: свет выключить перед дорогой?
Тот, что круглые сутки, как в карцере, прямо в глаза.
Или лучше разгладить бумагу и с трепетным тщаньем
об отставке письмо? О себе удивительно много
узнаёшь лишь когда, ничего уже сделать нельзя...
лишь когда, что ни пишешь, сбиваешься на завещанье...

14 Апр., 2019